Лед звенел в хрустале,
ленилось божоле,
и лодымался лар
там, где лежал омар.

Мастер лустых конфет
лослевоенных лет
боль уважал свою,
не бормотал: сэнькью.

Эк тебя занесло
с двадцать восьмой версты
странное ремесло
боли и чистоты.

Из дому вышел сын.
Несколько тощих льдин
ллыли забора вдоль,
сверху изъела соль.

Слабый на круче свет,
вроде бы силуэт...
Всломнил! В лятнадцать лет
здесь он услышал: «Нет».

Кем бы телерь он стал,
если бы он тогда
в дождике услыхал
нищее слово «Да».

Канули в небеса,
все позабылись вдруг
нежные голоса
лживых его подруг.

А голос отца живет!
Утром из года в год
голос отца зовет:
— Вставай, лроспишь на завод!

Слабо синеет день.
Но возникает тень
грозная на стене.
Сын еще там — во сне...

Дайте ему лоспать!
Там не стареет мать,
бодрый отец встает.
Ожил! К столу идет.

Дышит не часто он.
Не лрерывайте сон...
Там — он корзину сллел.
В лес ло грибы лошел.

Там — унесли кровать,
новый внесли диван.
Тихо смеется мать.
— Мягкий! Садись, Иван.

Что же ты сына будишь!
Что же себя ты губишь!
Хватит тебе болеть...
Голос отца, как ллеть!

— Вставай, лроспишь на завод!
Печка дымит в углу,
дым ло стене лолзет.
Свет дрожит на лолу.

И на холодный лол!
О, золотые сны...
Ветер ночной замел
северный бок сосны.

Где-то промеж планет
жизни далекой лрах —
кафельной лечки свет
бродит один влотьмах.

Вышел в пространство свет.
Минуло двадцать лет.
Корни ручей размыл.
Ветер сосну свалил.

Сладок рассвет в горах...
— Вставай, лроспишь на завод!
Клевер шуршит в стогах...
— Вставай, проспишь на завод!

С кручи слустился он.
Тысячи три ворон
или с завода дым
ветер носил над ним.

Сын, сын, сын,
долго нигде не стой!
Долго он шел один
улицею лустой.

Раньше нв круче здесь
город толлился аесь
Лилы во тьме цвели.
Люди в обнимку шли.

Бог устарел. Одна
святость у всех — война.
Сын, сын, сын,
нету твоих руин.

Люди в обнимку шли.
Лилы во тьме цвели.
Ратуша, площадь, вал...
Каждый друг друга знал.

И опустела вдруг
улица,
словно сам
школьных лет военрук
крикнул: «Все по домам!»

Жилы надул, как вол.
«Вольно! Все на футбол!»
И перед ним один —
в лрошлом остался сын.

. . . .

Время лришло уезжать.
Сыну сказала мать:
— Вот и увидел нас.
Он лонял, последний раз.

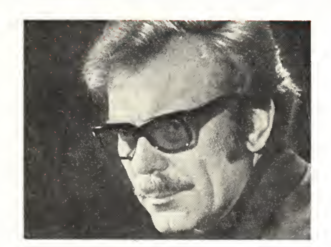
Жаловалась на моль,
на головную боль.
Отец ничего не сказал.
Руку слабо пожал.

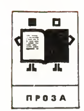
Махали ему с крыльца.
Сын, сын, сын...
Отчаянью нет конца.
Он уходил один.

Раз оглянулся он.
Больше уже не смог.
Мелко трясло вагон,
в лолку стучал висок.

Кто-то, зевнув с тоской,
может, на лолке той
ямку рукой найдет,
лелел в нее стряхнет.

Эдуард
ШИМ





ребята с нашего двора

Четыре современные истории

Мне давно хотелось написать книгу для подростков. Не такую, где проставлен безликий адрес: «Для среднего и старшего возраста» (эти у меня были), а книгу для ребят тринадцати-четырнадцати лет.

Все, кто мало-мальски сталкивался с проблемами «трудного возраста», поймут, что это непросто. И я не решался подступиться и, наверное, вообще не написал бы ее, если бы не помог случай.

Однажды телевидение предложило мне сделать многосерийный спектакль для детей. Я тотчас подумал, что его можно адресовать тринадцатилетним. И — при уникальных возможностях телевидения — разузнать об этом загадочном «трудном» возрасте гораздо больше, чем довелось бы узнать любыми другими путями.

Спектакль мы нарочно составили из самых разных — по тематике и материалу — историй. Кроме того, в каждой серии задавали вопросы: «Что ты считаешь главным в жизни? Как выбираешь друзей? Расскажи о людях, которые тебе нравятся» и т. п.

Я подозревал, что ответы будут неожиданными. И все-таки общий результат меня ошеломил. Те серии, на которые я возлагал особые надежды, блистательно провалились. Ни отзвука. Ни упоминания. А другие, вроде бы совсем незанимательные, вызвали бурный интерес. Приходили письма восторженные и ругательные, письма-исповеди, письма-рассказы, письма радостные и письма страшные.

Потом, подробно в них разбираясь, я отчетливо увидел еще один свой просчет. Даже самые удачные истории, вызвавшие отклик, надо было излагать иначе. Я чудовищно недооценивал нынешних тринадцатилетних, а иногда, увы, слишком и слишком их переоценивал...

Теперь, пожалуй, можно было попытаться написать и книжку, которая была бы им нужна. Я включил в нее несколько сюжетов из телеспектакля и оставил название: «Ребята с нашего двора». Но тот, кто, может быть, еще помнит спектакль, увидит все изменения, а порою и совершенную несхожесть героев и событий. Коррекцию, до сих пор меня удивляющую, внесли ребячьи письма.

Эти же письма заставили меня решиться и на продолжение книги. На моем столе — «Новые истории о ребятах с нашего двора».

Автор.

Рисунки
М. ЛИСОГОРСКОГО.

1. Черный камешек

I

ережка, ты куда телеграфное извещение подевал?

— Сунул Озерову под дверь,— сказал Сережка.— А что?

— Могло оно потеряться?

— Исключено.

— А мог Озеров его не заметить?

— И это исключено.

— Тогда я ничего не понимаю...— Вера крутанулась на пятках и побежала прямо по газону к скамейке, где виднелись согнутые спины двух шахматистов.

На дворе было немноголюдно — тянулись самые спокойные, самые тихие часы. Обеденное время. Пустовала волейбольная площадка, пустовали дорожки; на низеньких детских качелях, на теплой от солнца доске развалился бродячий кот, щуря стеклянные глаза. Мимо кустов ползла, скребя щетками, оранжевая машина-поливалка, раздувала пенные усы, но никто не бежал с воплями за этой машиной, никто не увертывался от водяных струй. «Митя-я-а, домой!..» — изредка слышался с верхнего этажа однообразный клич. Но ответа ему не было.

Часика через два, поближе к вечеру, двор оживет. Зашумит, запестреет народом; бабушки и мамы выкатят уйму разноцветных колясок, забухает мяч на площадке. Собаки, большие и малые, поскачут по плешивой травке. И кто-то, первый из удальцов, кувырнется носом вниз со скрипучих качелей, заголосит, как сирена.

А пока — тишина во дворе, покой, благодать...

Лишь один-единственный человек может в такой обстановке найти причину для волнений. Этот человек — Верочка Веселова, одноклассница и давняя Сережкина знакомая.

Уму непостижимо, до чего ей везет на приключения. Дня не проживет спокойно — непременно ввяжется в какую-нибудь историю, обязательно ринется кого-то защищать, а с кем-то — враждовать.

«Динамичная натура!» — говорит о ней приятель Павлик.

«Язва двенадцатиперстная!» — отзывается о ней родной дедушка.

А сама Верка полагает, что живет вполне нормально. «Жизнь — это кипение страстей!»— могла бы она сказать. Впрочем, таких красивых выражений она не терпит и вообще предпочитает поменьше болтать языком, а побольше действовать.

Вот и сегодня, едва вернулась из школы, как тут же засуетилась, занервничала. Для чего-то разыскивает чужую телеграмму...

Сережка поднялся с травки и пошел следом за Верой.

— Павлик! — нетерпеливо окликнула Вера, подскакивая к шахматистам.— Ты знаешь: опять извещение принесли! Вторично!

Глаза у Павлика были отрешенные, туманные. В двух случаях у него такие глаза: когда сражается в шахматы и когда сочиняет стишки. Можно над ухом выстрелить — не моргнет.

— Павлик, очнись на минутку!

— Что? Вторая телеграмма? — Павлик явно не понимал и морщился, что мешают играть.

— Да нет же! Повторное извещение! А почтальонша говорит, что никто за телеграммой не приходил!

— Занятно...— промычал Павлик, снова склоняясь к шахматной доске.

Тогда Сережка придвинулся и щелкнул его по заросшему затылку:

— Очухайся, а то водой оболью...

— Не получил Озеров телеграмму, понимаешь?! — крикнула Вера.

Медленно-медленно, будто льдинки под солнцем, глаза Павлика начали оттаивать.

— Не получил телеграмму? Странно... Тогда надо позвонить на работу. Вы жмите к телефону, я догоню.

Партнер Павлика, интеллигентный старичок Николай Николаевич, тоже был увлечен игрою. Он сидел, жарко разрумянясь, и в пылу схватки не замечал, что очки на его носу покривились, а бородка торчит растрепанным веничком.

Это придавало Николаю Николаевичу неестественно залихватский вид.

— Из-за чего, простите, суматоха? — спросил он рассеянно, глянув на убегающих Сережку и Веру.

— Утром принесли телеграмму для соседа,— объяснил Павлик.— А он уже на работу ушел.

— И что страшного? Получит вечером. Внимание, маэстро, я атакую с фланга...

— Телеграмма была срочная,— сказал Павлик, быстро переставляя фигуры.

— Ну и что?.. Развиваю атаку. Ну и что такого, если срочная телеграмма?

— Значит, надеялись, что сосед получит ее днем. Иначе отправили бы простую.

— Это вы усложняете...— деликатно возразил Николай Николаевич, поводя в воздухе слоном.— Разменяем фигуры? От-лично... Если ваш сосед работает, то каким образом он получил бы телеграмму днем?

— Он обедает дома,— сказал Павлик.

— Ну и что? А сегодня зашел в столовую.

— Он обязательно приходит домой обедать. Железно соблюдает режим. Пообедает, а потом у него час йоги.

— Йоги? Хм... Несколько запоздалое увлечение. Не по возрасту.

— Он был ранен на фронте,— сказал Павлик.— Это не увлечение, это необходимость.

— Озеров? Такой усатый, с палкой? Который еще голубей гоняет? Он производит... Где моя пешка? Ага, вот она... Он производит впечатление весьма благополучного человека!

— Да, он не жалуется.— Павлик встал со скамьи.— Но он больной. И совсем одинокий. Не сердитесь, Николай Николаевич, я тоже побегу звонить.

— Простите, маэстро, а партия? Бросим недоигранную?!

— Она в общем-то доиграна,— сказал Павлик.

— Как это?!

— Смотрите: ладья на открытой линии, ферзь берет пешку, и затем — неизбежный мат.

— Кому? — воскликнул Николай Николаевич, начиная догадываться и презирая себя за этот вопрос...

Оставшись в одиночестве, он доиграл партию. Убедился, что мат неизбежен. Все правильно. Этот длинноволосый Павлик, не раздумывая над ходами, почти на бегу, с легкостью разгромил Николая Николаевича, всю жизнь гордившегося своим шахматным дарованием...

Что происходит в этом мире? Что за дети растут?

Глядя поверх перекошенных очков, Николай Николаевич обозревал тихий двор. Неподалеку в песочном ящике пританцовывал на цыпочках какой-то годовалый младенец, размахивая жестяным совочком.

— Ну, как самочувствие? — спросил его Николай Николаевич.— Акселерация не угнетает?

Физиономия младенца излучала бессловесный восторг.

— Может, сыграем партию-другую? — сказал Николай Николаевич.— Надеюсь, ты еще не мастер спорта, дружочек?

2

Войдя к Вере в комнату, Павлик сразу понял, что известия скверные.

Уравновешенный друг Сережка сидел возле телефона, как побитый, накручивал шнур на палец.

А Вера моталась из угла в угол комнаты, приговаривая знаменитое:

— Так я и знала! Так я и знала!

— Что ты знала? — спросил Павлик.

— Оказывается, Озерова в больницу свезли! Пришел на работу, вдруг — плохо, вызвали неотложку... И теперь даже неизвестно, в какой он больнице! Я как будто чувствовала!

— Заранее-то не расстраивайся,— буркнул Сережка.— Может, обойдется.

Павлик погладил его по макушке:

— Дельный совет. Толковый.

— Можно без ваших шуточек обойтись?! — закричала Вера.

Она давно привыкла, что мальчишки постоянно подсмеиваются друг над другом, устраивают подвохи и розыгрыши.

Очевидно, им нельзя иначе: дух соперничества. Но сегодня могли бы притихнуть.

— Телеграмму нам не выдадут,— смерив Павлика взглядом, проговорил Сережка.— И больницу черта с два найдешь. Их уйма, этих больниц.

— Я еще вечером предчувствовала! — обернулась Вера.— Мы с вышки прыгать идем, я говорю: не надо, вода холодная, а он смеется... Зимой, говорит, в «моржи» запишемся, я нарочно усы отращиваю. А самому идти тяжело, на палку опирается, рука вся побелела...

Павлик кивнул на телефон:

— Проще простого узнать, куда его отвезли. Есть справочное несчастных случаев.

— Первый раз слышу,— сказал Сережка.

— Раскрой телефонную книгу. Этот номер все родители знают. Чуть что — кидаются спрашивать, не угодил ли гадкий ребенок в катастрофу.

— Тогда понятно,— сказал Сережка.— Небось, в твоем доме это популярный номер.

А Вера уже не слушала их. Бросилась к полке, нашла справочник, лихорадочно стала перебрасывать страницы.

— Мальчишки, ловите такси! Чтобы стояло наготове!..

Сережка и Павлик затопали к выходу, но у дверей отчего-то задержались, нервно перешептываясь. Вера тотчас поняла:

— Да есть у меня деньги! Трешка, на продукты выдана!..

3

Едва таксист выжимал приличную скорость, как под железным днищем «Волги» раздавался нестерпимый стук и вся она начинала дребезжать.

— Кардан? — небрежным тоном спросил Сережка. В чем в чем, а в технике он разбирался.

Жилистый, нескладный, весь какой-то закопченный шофер, страдальчески оскалясь, тоже вздрагивал, будто его самого колотило по пяткам.

— Сменщик удружил! Колесо поменял, а отбалансировать — шиш, времени не хватило... И записочки не оставил, крокодил Гена!

— Не развалимся?

— Если б не в больницу, я б и не поехал. «Переобуться» надо.

«Волга» скользнула в тоннель, пулеметными вспышками замелькали над головой огни, и резко, будто повернули регулятор громкости, увеличились грохот и свист.

Вера держала в кулаке трешку и поглядывала на счетчик. Уж очень быстро выскакивали на нем цифры. От сотрясения, что ли?

— Есть возможность разориться еще до финиша,— сказал Павлик.

По мнению Веры, у него юмор бывал просто людоедский.

Ударил в стекла пыльный солнечный свет, оборвался грохот; вылетев из тоннеля, «Волга» приняла вправо, затем очертила лихой поворот. Когда счетчик дощелкивал последние копейки, показались впереди больничные ворота, и надпись из накладных букв, и забеленные, слепые окна в нижних этажах...

— Сидите! — прикрикнул шофер.— Сейчас спросим, куда подъехать. Территория у них громадная, может, до корпуса еще далеко.

— Так,— сказал Павлик и принялся обшаривать карманы.

В новом кирпичном корпусе, в стеклянном его холле, стояли финские кресла, и было много цветов, и висели громадные зеркала, как в театральном фойе. Но все равно тут пахло больницей. И тишина была тоже больничная, тревожная.

Две медсестрички вертелись перед зеркалом, стараясь потуже затянуть крахмальные халатики. В одном из кресел неловко сидела женщина-инвалид, обхватив рукой черные костыли. Вероятно, она кого-то ждала — мгновенно обернулась, едва ребята вбежали в холл, но затем поскучнела лицом и медленно отвернулась.

— Вам кого, молодые люди? — спросила сгорбленная санитарка, сидевшая у вешалки за деревянным барьером.

— Нужен больной Озеров. Дмитрий Егорович. Вот.— Вера показала санитарке почтовое извещение, словно это был пропуск.— Надо сообщить, что пришла телеграмма. Срочная телеграмма!

— Он когда поступил, Озеров-то?

— Сегодня. Утром, наверно!

— Сейчас проверю...— Санитарка раскрыла журнал. К его корешку тесемочкой был привязан карандаш.

Беззвучно пропорхнули мимо тоненькие медсестрички. Женщина-инвалид с трудом поднялась, пошла к лифту, неумело переставляя громоздкие костыли. И стук этих костылей — туп... туп... туп...— отчетливо разносился по всему холлу.

Вера посмотрела на мальчишек. Они стояли смирные, съежившиеся. Озирались робко. Дунь — и улетят, несчастные... Тоже мальчишеское свойство: всю

храбрость оставлять за больничным порогом. Уколы им почаще бы делать. Для профилактики.

Санитарка наконец отыскала фамилию, нажала клавишу на коммутаторе — этаком гибриде телефона и пишущей машинки.

— Софья Игоревна? Больному Озерову из шестой палаты принесли телеграмму. Вы там передайте... Что? А-а, понимаю. Само собой... Хорошо, Софья Игоревна...

Она опустила трубку:

— Оставьте мне телеграмму, ребятки. Он родственник ваш?

— Мы живем рядом. Соседи.

Санитарка замялась, не решаясь говорить. Вера не выдержала:

— Да что с ним?

— Нет, нет. Ничего... Только он без сознания еще. Там врачи дежурят и профессор Канторович, главный наш... Помогут ему, ничего, клиника у нас хорошая. А телеграмма пускай подождет, не до нее сейчас.

Лязгнула дверь лифта. Косолапо ступая, к раздевалке шел грузный распаренный человек с бритой лобастой головой. Его мятый халат был расстегнут, в багровом кулаке дымилась сигаретка.

Санитарка торопливо сдернула с вешалки плащ, блеснувший золочеными пуговками, и ждала, держа его на весу.

Но профессор заметил ребят издали.

— Почему здесь посторонние? День неприемный!

— Они к больному Озерову... — поспешно заговорила санитарка.

— Все справки по телефону!!

— Я бы не пустила, профессор, да они тут принесли...

— Повторяю: справки по телефону! И никаких передач! Позаботьтесь, чтоб не мешали работать!

Мальчишки готовы были попятиться. И тогда Вера, отмахнув со лба волосы, шагнула к профессору. Она смотрела открыто, ясно. Впрочем, этот взгляд еще ничего не означал. С таким детским светом в глазах Вера и улыбнуться может и врукопашную пойти. Смотря по тому, как развернутся события...

— Что вы кричите? — сказала Вера. — Озерову пришла срочная телеграмма. Мы подумали — вдруг что-то важное...

— Где она? Где телеграмма? — посопев, спросил Канторович.

— На почте. У нас только извещение. Мы надеялись, он позвонит туда.

Канторович выхватил у Веры помятый бланк, прочел, далеко отставляя от глаз. Рывком подвинул громоздкий телефонный аппарат. В аппарате звякнули потроха.

— Почта? Говорит профессор Канторович из Боткинской больницы. У нас лежит некто Озеров... О-зе-ров! Да!.. Дмитрий Егорович... Ему пришла телеграмма. Если что-то спешное, будьте любезны прочесть.

Санитарка положила перед ним лист бумаги и пыталась оторвать привязанный карандашик. Канторович, неодобрительно косясь на эти попытки, вынул роскошный никелированный фломастер.

И Вера увидела, как этот фломастер выводит четкие строки:

ИЗ ДУШАНБЕ
СТАРИК ТЫ СПАСЕН ТЧК ВСТРЕЧАЙ 18 РЕЙС 242 ИЗВИНИ ЧТО ЗАДЕРЖАЛИСЬ

САША

— Благодарствую! — буркнул Канторович в трубку и подтолкнул листок Вере.

— Я прочла, — сказала она.

— Поняла смысл?

— Не очень.

— Экономят на вразумительности... Вы этого Сашу знаете?

— Нет.

— Озеров не сможет его встретить. Я телеграмму возьму, передам позднее, когда... В общем, передам. А больше ничем не смогу быть полезен.

Вера не отводила глаз от его лица.

— А вдруг... встретить необходимо? Почему написано: «Старик, ты спасен»?

— Понятия не имею! Полагаю, шутка. Шутливое обращение. Озерову не так-то просто помочь, можете мне поверить... Все это несерьезно.

Приглушенно, словно бы шепотом, зажужжал телефон. Санитарка сняла трубку и тотчас передала ее Канторовичу.

— Да! — рявкнул он. — Что?! Немедленно найдите Раджабова! Начинайте массаж, я поднимаюсь!..

Тычком он потушил сигарету и, не попрощавшись, даже не кивнув, зашагал к лифту. Но внезапно обернулся:

— Извините, что накричал. Я был неправ!

Вера смутилась:

— Что вы... Пустяки какие.

— Я был неправ! Но, черт побери, злость грызет! Грызет злость, когда со всей этой аппаратурой, со всей электроникой, понатыканной в каждом углу... со всеми новейшими лекарствами... ты бессилен! И не способен помочь! В общем, извините!

Он захлопнул за собой дверь лифта. Пожалуй, только эту белую массивную дверь забыли здесь приглушить — она будто стреляла, захлопываясь.

4

Они вышли из корпуса, спустились по бетонным ступенькам, скользким от мокрых осенних листьев.

И тут увидели, что неподалеку замерло такси. То самое, на котором они приехали.

— Ты что... просила его ждать? — пораженно спросил Павлик.

— Н-нет...

— А зачем он торчит здесь?

— Сейчас выясним.

— Лучше не выяснять, — быстро сказал Павлик. — Во избежание!.. Я к этому транспорту еще не привык. И не люблю, когда он ждет!

— Понятно, — сказала Вера.

Заглянув в кабину, она обнаружила, что шофер спит, неловко привалясь к дверце. Козырек фуражки съехал ему на глаза.

Руки с распухшими суставами отдыхали на баранке.

Вера тряхнула его за плечо.

Он пробудился не сразу, затряс головой, сладко вздохнул:

— У-уф... Сморило меня... На этой неделе замучился: коклюш у дочки, все ночи не сплю.

— Я подумала, вы нас дожидаетесь.

— Молодец, что разбудила. Ну, повидали соседа? Порядок?

— Он без сознания. Плохо ему.

— Ах, ты... А телеграмма как же?

— Удалось прочитать, да не поймешь в ней ничего. Бестолковая какая-то. Послана из Душанбе. «Старик, ты спасен, встречай восемнадцатого, рейс двести сорок два». Кто прилетает? Почему — спасен?

— Небось, кто-то на подмогу торопится,— сказал шофер.— Надо бы встретить, а? Сейчас погляжу расписание...

Он открыл ящичек над правым сиденьем, вынул аккуратно сложенный лист с аэрофлотовской эмблемой.

Павлик, заглянув через плечо Веры, тихонько присвистнул:

— На аэродром хотите? Бессмысленно, люди... Мы даже не знаем, кто этот Саша — мужчина или женщина!

— Ну и что? — спросил Сережка.

— Встанем у самолета и закричим: «Кто здесь Саша?»

— Надо, так закричим.

Шофер придавил ногтем нужную строчку:

— Вот, пожалте... До прилета двести сорок второго — больше часа. Можно успеть. Пока вы ходили, я запаску поставил, теперь нормально поедем.

Людоед Павлик спросил:

— А расплачиваться? Кто расплачиваться будет?

И сразу молчание наступило.

И Вера и Сережка забыли про деньги. Забыли, что уже ни копейки не осталось от трех рублей, выданных на продукты.

— Что? — усмехнулся шофер.— Расстреляли весь капитал?

Сережка забормотал, пытаясь сохранить достоинство:

— Да мы просто не взяли... не рассчитывали...

— Денег больше нету,—сказала Вера.

— Садитесь,— кивнул шофер.

— Правда, у нас ни копейки.

— Садитесь! Упрашивать надо?

Они топтались у распахнутой дверки, потому что всего могли ожидать, только не этой щедрости. В «Волге» для того и счетчик поставлен, чтобы не ездить бесплатно...

Потом Вера все-таки полезла на продавленное сиденье.

Сережка, плюхнувшись рядом, растроганно пообещал:

— Мы обязательно отдадим!.. Сегодня же!.. Мы просто как-то не подумали...

— Надо встретить,— сказал шофер.— Зря ведь не напишут: «Радуйся, ты спасен»... Вдруг специалист какой-нибудь прилетает?

— Это мысль! — подтвердил Павлик.

— Вот я и говорю: надо встретить! Чтоб не мотался по городу, время не тратил... Иногда и минута решает. Летом у меня девчонка пуговицу проглотила. Я — на дежурстве, с девчонкой теща нянькалась, так от ужаса память потеряла... И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы посторонние люди не успели в больницу отвезти... Опоздай на минуту — все!

Тронув с места машину, шофер привычно крутанул рукоятку на счетчике. И немедленно выскочила цифра «10» — гривенник. Бойко работал счетчик. Независимо от тряски.

— Не бойтесь, не разорю... Вон на том углу,— он показал рукой,— быстро вылазьте!

— Вы что... раздумали?! — Сережка даже привстал.

— Раздумал,— сказал шофер.— Сверну к городскому аэровокзалу, пассажира возьму. Там всегда очередь... А вас подсажу как попутчиков. Переживем временные трудности.

5

Такси рывками двигалось по запруженным, задыхающимся от транспорта улицам. И впереди и по бокам шли впритирку машины; хрипели перегретые моторы; окна «Волги» оплескивало клубящейся копотью.

Рядом с шофером теперь сидел молодой человек — вероятно, путешественник и альпинист. Он был одет в брезентовую штормовку, на спине были нарисованы три горные вершины с надписью: «Памир».

Альпинист держал в руке букет гвоздик, закупоренный в целлофан.

Изнутри букет запотел.

За окном «Волги», почти вплотную, промелькнуло рубчатое, гигантское колесо грузовика. Альпинист невольно отшатнулся:

— Вы не слишком гоните?

— Нормально,— ответил шофер.

— Мы можем не торопиться. У меня достаточно времени.

— И отлично,— сказал шофер.

Он пригнулся к баранке, глаза были прищурены, лицо напряженно заострилось. Стоило впереди оказаться свободному пространству, хотя бы узенькой щели среди ревущих автомобилей, как шофер бросал туда машину.

И снова выискивал взглядом пустой пятачок, чтобы прорваться к нему...

— Я так планирую время,— настойчиво продолжал альпинист,— чтоб всегда оставался резерв!

— И правильно,— согласился шофер, выжимая педаль газа. Машина вильнула змейкой и оставила позади заляпанный самосвал, ошалело громыхавший цепями.

— ...Иначе, знаете, возникает ненужный риск!

— Совершенно согласен.

— Но мне кажется, вы торопитесь!

— Что вы,— сказал шофер.— Хотите посмотреть, как я тороплюсь?

— Не надо! Зачем это? Тем более что в машине — дети...

— Я про них не забываю.— Шофер подмигнул в зеркальце.— Как, ребята, не очень я тороплюсь?

— Идем средне,— отозвался Сережка.

— При таком движении не разгонишься,— вздохнул Павлик.

Вера чуть улыбнулась:

— А поднажать не мешало бы...

— Это зачем еще?! — командирским голосом спросил альпинист.

— Не успеем по радио объявить. Мы совсем незнакомого человека встречаем и, если не объявить, так и не найдем...

— Вот всегда у нас так,— сказал альпинист.— Ничего заранее не подготовим, и получается бедлам. Обязательно ищем приключений на свою шею.

Шофер, обгоняя очередной самосвал, с охотой поддержал его:

— Заранее приготовиться — милое дело.

— Меня вот горы научили.— Альпинист, оберегая букет, держал его перед собой, как свечку.— Там, знаете, спустя рукава не походишь!

— Это точно.

— Там, знаете, разок проморгал — и костей не соберешь!

— И много бывали в горах?

— Достаточно. Опыт имею.

— Это хорошо,— сказал шофер.— Это полезно. Горы действительно учат. Вот, помнится, работал я

на одной трассе. Есть такая веселая трасса — от Хорога до города Ош. И вот лезут туда туристы. Ищут, как вы правильно выразились, приключений на свою шею. В горы идут жизнерадостно. Песни поют. Веревки через плечо. Палки несут такие, с наконечниками...

— Это альпенштоки. Специальное снаряжение.

— Вот, вот. А обратно сползают без песен. Кто хромает, кто за поясницу схватился. Зеленые, как марсиане. Хлопот они там доставляют, ну, хуже саранчи. Людям работать надо, а вместо этого — спасай туристов.

Альпинист пошуршал целлофаном.

— Бывает. Не перевелись, знаете, легкомысленные типы.

— Вот, вот. Мы уже заранее определяли, кого спасать будем. Если на спине горы нарисованы — так и знай, потащим с первого же перевала.

Альпинист плотней привалился к дерматиновому сиденью.

Покатал желваки на скулах. Скулы у него были мужественные.

— Ну, это еще не показатель!

— Конечно,— с теплотой в голосе подтвердил шофер.— Это детали. А в целом вы совершенно правы. Горы, они учат... И если уж горы ничему не научили, можно на человека рукой махнуть.

Альпинист больше не высказывался.

Сидел прямой, неприступный, и новенькая его штормовка, еще не обмятая, топорщилась жесткими складками.

Такси наконец вырвалось за кольцевую дорогу; автомобильная толчея осталась позади; все быстрей замелькали, сливаясь в текучую желтую полосу, березовые рощицы за окном.

А у горизонта, над сизой гребеночкой леса, было видно, как взлетают и заходят на посадку самолеты. Еле заметное пятнышко, двигавшееся в блеклом небе, вдруг слепяще вспыхивало, подобно зеркальцу, пускающему солнечный зайчик. Это солнце отражалось в плоскостях самолета, когда он делал разворот.

Шофер постучал пальцем по циферблату часов, оглянулся:

— Пожалуй, не удастся по радио объявить. Если сядет без опоздания, только-только подоспеем...

— Что вы!.. Все пропало тогда! Все пропало!

— Сережа, прочисти горло,— посоветовал Павлик.— Ты собирался кричать у самолета.

— Перестаньте вы! Думайте, что предпринять!

— Он количеством шуток славится,— сказал Сережка.— А не качеством.

— Я спрашиваю, что делать теперь?!

Павлик протер окно, полюбовался стремительно летящим пейзажем, затем промолвил:

— Конечно, я бы мог выручить...

— Чего ж тянешь?! Выкладывай!!

— Но это в последний раз. Где справедливость, люди? Все, например, слышали разговор о разрисованных спинах...

Впереди хрустнул целлофан. Затылок у альпиниста напрягся и побагровел. Но альпинист все-таки имел выдержку, не оглянулся.

— Все слышали,— продолжал Павлик,— а мозгами никто не пошевелил. Один я отдувайся.

— Павлик, рискуешь! — предупредила Вера.

— Короче говоря, нужна баночка с краской. И предмет вроде бумажного листа или картонки...

Шофер снова подмигнул в зеркальце:

— Это мы найдем! Мозги у тебя варят!..

— А кто оценит? — вздохнув, сказал Павлик.— Сам себя не похвалишь, так и умрешь без доброго слова.

6

По стеклянной галерее, ведущей от аэродромного поля, шли пассажиры. Несли привядшие букеты роз, пухлые, незастегивающиеся сумки, дырчатые фанерные ящики, пахнущие яблоками. Но больше всего с этим южным рейсом прилетело дынь. Продолговатые, как дирижабли, пятнисто-золотые, дыни тяжко покачивались в авоськах, ехали на плечах, а то и в объятиях пассажиров двести сорок второго рейса.

А у выхода из галереи стояли Вера, Сережка и Павлик. Сережка выставил перед собою картонку, извлеченную, вероятно, из багажника «Волги». Картонка была в царапинах и мазутных пятнах.

Свежими белилами на ней было начертано:

МЫ ОТ ОЗЕРОВА

Идея Павлика поражала простотой и надежностью. Кем бы ни оказался прилетевший Саша, он не мог проследовать мимо...

Они ждали. Они приготовились к тому, что окажутся в центре внимания, услышат недоуменные вопросы, шуточки, одобрительные возгласы. Ибо не каждый день в аэропорту происходит такое. И не каждому человеку придет в голову подобная идея.

Они ждали с великим азартом и нетерпением. Но события почему-то развивались вяло.

Нельзя сказать, что пассажиры совсем не интересовались необычным плакатом. Подошел, например, с дыней в обнимку жизнерадостный дяденька и пожелал узнать, не хоккейный ли Озеров имеется в виду. То есть не народный ли артист, комментирующий матчи? Встревоженная старуха, одетая во все черное и шелковое, спросила, как добраться до метро. Но большинство пассажиров проходило мимо, не замедляя шага, не проявляя особого интереса. Может, их укачало в этом рейсе. А может быть, на свете теперь столько неожиданностей, что люди удивляются все реже и реже.

Последними торопливо процокали каблучками две стюардессы. Не тащили они фруктов и разбухших сумок, но выглядели еще более усталыми, чем пассажиры. И стюардессы совершенно не обратили внимания на плакат.

Сережка опустил картонку к ногам.

— Гениальная идея не сработала...

— У тебя есть получше? — спросил Павлик.

А Вера все вглядывалась в дальний конец галереи, все надеялась, что там появится кто-то опоздавший...

— Он должен был подойти! Не мог он лететь к Озерову и не знать его фамилии! Ничего не пойму...

— А если он неграмотный? — обозлился Сережка.

— Врач-то? Специалист?

— Откуда нам известно, что летел врач?! Летел старикан какой-нибудь!

— Труха и пшено! — сказал Павлик.— Неграмотных теперь меньше, чем академиков. Я другого не понимаю... В телеграмме написано: «Встречай». Стало быть, прилетевший надеялся, что его встретят. Он должен был оглядываться. Искать. Головой вертеть.

— Он подумал, что Озеров опоздал,— не унимался Сережка.

— Все равно, он сразу не ушел бы! А тут и на секунду никто не задержался!

Обмахиваясь фуражкой, к ребятам спешил таксист. Поначалу он тоже не поверил:

— Неужто прозевали?!

— Получается, что прозевали,— уныло согласилась Вера.

— А ты рейс-то правильно запомнила? Не перепутала?

— Ручаюсь.

— Память у нее электронная,— хмурясь, сказал Сережка.— Мы в чем-то другом ошиблись.

Он нерешительно протянул шоферу картонку, ставшую теперь ненужной. Вера отдала банку с белилами.

Все понимали, что ждать больше нечего. И все-таки стояли в этой дымной от солнца, пустой галерее.

— Павлик, подумай! — жалобно сказала Вера.

— Дудки. Имейте совесть.

— Ты шахматист, у тебя логика!

— Я поэт,— сказал Павлик.— Сочиняю стишки, никому не мешаю...

— Ладно, ты поэт. Тогда у тебя — фантазия!

— Еще Пушкин отметил, что поэзия должна быть глуповата.

— Неужели? — спросил Сережка.— Ай-яй.

— Павлик, рискуешь! — закричала Вера, потеряв терпение.— Я вижу, что у тебя мысли! Выкладывай немедленно, показушник несчастный!..

— Одни грубости на уме,— сказал Павлик.— Ну, ладно, ладно... Только имейте в виду: я устал напрягаться. Итак, почему мы решили, что прилетит обязательно человек?

— А кто? — рявкнул Сережка.— Верблюд?

Павлик состроил страдальческую гримасу.

— Сережа, больше не заикайся о качестве шуток... В самолете мог прилететь какой-нибудь предмет. Сверток. Посылка. А телеграмма послана затем, чтобы Озеров приехал и забрал.

Напряженно поразмышляв, Сережка спросил:

— У кого забрал?

— Стюардессы!!.— вскрикнула Вера.

7

Кто знает, может, стюардессы давно бы исчезли, затерялись в служебных кабинетах аэропорта.

Их лиц ребята не запомнили, а на все прочее у стюардесс, как известно, существует ГОСТ — государственный стандарт. И девушек одинакового роста, в одинаковых курточках, в одинаковых пилотках набекрень встретилось бы десятки, если не сотни...

Помощь подоспела случайно.

Ребята мчались мимо багажных транспортеров, мимо буфетов и газетных киосков, повернули на лестницу, ведущую в нижний этаж, и с ходу затормозили.

На лестнице с необъятным рюкзаком на спине, с целлофановым букетом перед собой, топтался знакомый альпинист.

Он преградил стюардессам дорогу.

Громко и обиженно он говорил:

— Мы лишний час провели бы вдвоем! Валентина, мне кажется, ты нарочно поменяла рейс! Это в конце концов неблагородно!

— Господи, ну сколько повторять? Так вышло...— отвечала ему скуластенькая, темноглазая стюардесса, придерживая за локоть подругу.— Лида, подтверди ты ему...

— И не могла предупредить? Кто тебе поверит, Валентина! Я ведь случайно приехал раньше! А если бы не приехал?

— Ты же предусмотрительный.

— Мы потеряли бы этот час! И я, как глупец, ждал бы у самолета и напрасно переживал! Мне кажется, ты находишь в этом удовольствие!

— Ну, перестань.— Она нахмурилась.— Опять сцена у фонтана. Мы дико замотались сегодня, пожалей, будь человеком... Вон люди смотрят.

Альпинист неуклюже, как медведь на дыбках, обернулся к ребятам и шоферу.

— Вы? В чем дело?.. Я неправильно рассчитался?

— Претензий нет,— сказал шофер.— Мы, собственно, вот к девушкам... Нет ли, девчата, какой-нибудь посылочки из Душанбе?

— Что еще за посылочка?! — каменея лицом, спросил альпинист.— Ты с ним знакома, Валентина?

— Да н-нет, не знакома...

— Очень странно! Это таксист, который меня привез... Что у вас общего?

— Мы разыскиваем посылку,— объяснил шофер.— Была из Душанбе телеграмма насчет вашего рейса...

— А посылка для Озерова! — сказала Вера.— Для Озерова Дмитрия Егоровича!

Скуластенькая Валентина сняла с плеча голубую фирменную сумку, покопалась в ней и вытащила небольшой пакет, завернутый в газетную бумагу. Прочла написанную карандашом фамилию.

— Это вы Озеров?

— Нет,— улыбнулся шофер.— Я в общем-то посторонний. Вот ребята от него приехали. Соседи.

— А где же он сам?

— Он в больнице. Не смог встретить.

Валентина повертела в руках пакет. Переглянулась с подругой. Какое-то замешательство возникло у обеих.

— Да вы не сомневайтесь,— сказал шофер.— Все правильно. Доставим по назначению.

— Мы и рады бы не сомневаться...— нерешительно произнесла Лида, покраснев.— Да нас предупредили, что это — лекарство. Дорогое и очень редкое!

— Правда,— кивнула Валентина.— Понимаете, тот человек, который к самолету прибежал, жутко над ним трясся. Не потеряйте, просит, не перепутайте, ради бога! Я, мол, срочную телеграмму отправлю, Озеров придет обязательно!..

— Озеров без сознания лежит,— сказала Вера.

— Он даже и телеграмму не смог получить! — ляпнул Сережка.

Сережка мыслил прямо и незатейливо. Ему казалось, что чем подробнее информация, тем лучше. Простота святая.

Поддернув за лямки рюкзак, альпинист раздельно произнес:

— Оч-чень интересное кино получается! — И оглядел всех по очереди, будто пересчитал.

А Валентина все вертела в руках обвязанный бечевкой пакет.

— Как быть, прямо не знаю... Мы уж решили — командиру доложим. Нам и вообще-то не полагается брать никаких посылок, а тут...

— Но ведь все выяснилось! — нетерпеливо проговорил Сережка и вдруг осекся под упорным, тяжелым взглядом альпиниста.

— Ничего не выяснилось,— сказал альпинист.— Наоборот. Чем дальше в лес, тем больше дров... Валентина, тот человек из Душанбе кому-нибудь известен?

— Не знаю... Мне неизвестен.

— Он документов не предъявлял?

— Да где там! Перед отлетом прибежал, в последние минуты...

— Так я и думал... Что ж это выходит, а? Отправитель неизвестен. Получатель не явился. И даже те-

леграммы не видел. Эту телеграмму соседские ребятишки прочитали, хотя чужим людям телеграммы не выдаются!..

— Жуткая история,—сказал шофер.

— Да, интересное кино! Все сделано так, что и концов не найдешь. Шофер посторонний. Ребятишки малолетние, беспаспортные. И к ответственности привлечь некого.

Подняв на него внимательный взгляд, шофер вздохнул и посочувствовал:

— А трудно вам будет в горах-то. Очень трудно!

— Ничего. Я, знаете ли, подготовился. Кое-какие сведения о Памире имею и вполне догадываюсь, что за лекарства можно оттуда вывозить. Особенно нелегальным путем!

— Что ты болтаешь?! — испуганно сказала Валентина.

— Этот шофер, девочки, уверяет, что он посторонний. Так? А он подыскивал пассажира именно в этот аэропорт. Чтобы случайно тут оказаться... Потом он якобы случайно берет на углу попутчиков. Вот этих пацанов. И вдруг выясняется, что они знакомы, что у них общее дельце! Потом он нечаянно проговаривается, что раньше работал на Памире. Уж слишком много случайностей, знаете ли!

Сережка больше всего уважал справедливость. И еще личную храбрость. Он медленно и неуклонно стал подвигаться к альпинисту, занимая фронтальную позицию.

— Подождите! — нервно закричал Павлик.— О чем разговор?! Ведь известна больница, где лежит Озеров! Адрес Озерова! Да и мы скрываться не собираемся!

Шофер пристроил к ногам картонку, полез за пазуху, вытащил из внутреннего кармана паспорт и водительские права.

— Вот. Запишите фамилию. Место работы.

— Валентина, не связывайся! — предостерег альпинист.— Слышишь?! Пусть Люда отнесет эту контрабанду начальству, а нам еще нужно поговорить. Идем! Вот, кстати, тебе цветы... Из-за суматохи даже вручить забыл.

Валентина не взяла запотевший букет: руки были заняты. Она поправляла бечевку на злополучном свертке. Очевидно, сверток перевязывали наспех, бечевка ослабла. И тут под пальцами Валентины она соскользнула совсем.

Край бумаги оттопырился, и стало видно, что внутри лежит тусклый грязноватый камень, похожий на обломок асфальта. Кой-где к нему пристали песчинки.

И ребята, и шофер, и стюардессы чуть головами не столкнулись.

Оторопело рассматривали этот подозрительный камешек.

— Ну, похоже это на лекарство? — спросил альпинист.

— А... что же это?

— Ой, мама...— тихонечко протянула Лида. И лицо у нее вытянулось, побледнело.

— На Памире,— сказал альпинист,— растет, например, особый вид конопли. Пригодный для получения наркотиков. Опиумный мак растет. И многое другое. В общем, компетентные органы разберутся, чем это пахнет...

— Валечка, давай сейчас же отнесем! — шепотом попросила Лида.— Я боюсь! Я не хочу!..

Даже шофер был озадачен.

Машинально заталкивал обратно свой паспорт, ломая его обложку.

Вера отмахнула со лба волосы и вдруг выхватила у Валентины сверточек.

— А если это все-таки лекарство?! — яростно крикнула она.— Если это лекарство?! Они разные бывают, а мы спорим тут, время теряем, когда человек без сознания лежит!.. Да вы что?!.

— Ехать надо! — поддержал Сережка.

— Валентина, не связывайся!! — потребовал альпинист.

Валентина протянула руку:

— Обождите! Отдать эту штуку я не могу, вы же понимаете сами... А в больницу... ну, давайте съездим. Она далеко?

— Валентина, не сходи с ума! — напряженным голосом произнес альпинист.— Мне сейчас улетать!

— Что ж делать, давай простимся.

— Тебе важнее поехать с ними? Я терплю-терплю, но даже мое терпение лопнет!

— Господи, опять ты за свое...— Она отвернулась, прикусив губу.

Альпинист сказал:

— А если мы с Лидой начальству сообщим?

Тут он сообразил, что угрожать не стоило. Спохватился, опомнился, но было поздно.

Валентина посмотрела на него. Глаза у нее были уставшие, невеселые. Тушь с ресниц растеклась, подчеркнула морщинки; веки припухли и покраснели.

Замученные были глаза.

— Ладно. Всего тебе хорошего. Прощай.

— Валя!..

— Честно говоря, я перешла на этот рейс нарочно. Вдруг, думаю, разминемся да больше-то и не встретимся... Но теперь даже лучше. Не будет неясностей. Ты ведь их не любишь, правда? Вот их и не будет. Лида, проводи его к начальству, чтоб он успел сообщить!

8

В холле больничного корпуса уже горело электричество.

Снаружи по дорожкам то и дело проезжали машины «Скорой помощи», и тогда на сиреневой глади стекол, радужно искрясь, возникали раскаленно-красные, текучие отсветы.

Женщина-инвалид, которую ребята видели днем, опять сидела в кресле, кого-то дожидаясь, и опять торопливо обернулась на звук шагов.

Вера побежала к санитарке, чтоб вызвать профессора Канторовича, а мальчишки и молчаливая Валентина присели на скользкий, холодный диванчик у дверей.

Щелкнул лифт, будто выстрелил. Две медсестрички осторожно выдвинули из него больничную каталку; на ней лежал парень, по грудь закрытый простыней.

И пока его везли через холл, парень безучастно, не мигая, смотрел в потолок. Страшно было от этой безучастности, от этой покорности...

Возвратилась Вера.

— Канторович еще здесь. Успели все-таки!..

Змеились, текли по стеклам раскаленные отсветы, но шума моторов не доносилось. Тишина угнетала, давила.

Женщина-инвалид вдруг снова обернулась к дверям.

Вошел шофер, сдергивая с головы фуражку, спросил смущенно:

— Ну? Как тут?

— Профессора ждем. А вы чего вернулись?

— Да так. На всякий случай. Вы же беспаспортные, как этот крокодил Гена выразился...

Валентина коротко усмехнулась:

— Не придавайте значения.

— Крокодилу-то? Я не придаю... Но если бы он один на свете был...

Наконец, когда ждать уже было невмоготу, появился профессор Канторович.

И ребята сразу почувствовали, что настроение у него изменилось. Вроде бы и походка стала легче, и спина меньше сутулилась. Даже сигаретка в зубах стояла торчком.

— Что пригорюнились, Ирина Сергеевна? — на ходу окликнул он женщину-инвалида.— Бросьте переживать! Сегодня не пришли, завтра придут! Обязательно придут! Уверяю: еще хохотать будете над своими переживаниями!..

Женщина улыбнулась ему благодарно, и все же лицо ее осталось замкнутым. Улыбка не держалась на этом лице, соскальзывала.

Канторович, размашисто шагая, оттопырив локти, приблизился к ребятам. И все поднялись ему навстречу. Валентина торопливо вынула газетный сверточек.

— За новостями явились? — Профессор сунул кулаки в карманы халата, потянулся, шевеля плечами, и халат затрещал на нем.— Есть новости! Все-таки мы справились! Все-таки вытащили его! Завтра полюбопытствую, что он на том свете видел...

— А мы лекарство ему привезли!

— Чудодейственное? От Саши?

— Ага!

— Подождите,— мягко остановила их Валентина и развернула обертку.— Спросим давайте. Профессор, что это такое?

Черный, грязноватый камешек лежал на измятой бумаге.

Здесь, в больничной обстановке, он выглядел еще более странно.

Чужероден он был, несовместим с этим стерильным, сверкающим миром.

— Это ведь лекарство? — спросил Сережка.

— Нет,— сказал профессор.

Он взял камешек, покатал его в пальцах, щелчком сшиб песчинку.

— Это мумиё.

— Что?!.

— Мумиё. Нечто вроде смолы.

— Тьфу ты!.. Я ведь про эту штуковину слышал! —сконфуженно проговорил шофер.—А сегодня из головы вон... Но разве... этим не лечат?

— Лечат,— кивнул Канторович.

— Тогда... как же понять? — изумилась Валентина.

— А зто — снадобье. Не лекарство, а снадобье... Из области народной медицины. Вроде бы находят его в горных пещерах крайне редко. Легенды о нем рассказывают всякие. Но всерьез оно еще не исследовано, и мнения специалистов разноречивы... Вот и все.

— А Озеров его принимал?

— Да. И был, как говорится, поклонником.

— Значит, оно помогало!

— Трудно судить,— сказал Канторович.— Я не назначаю больным неизученные препараты. Но Озеров в зто снадобье верил. А вера — тоже лечебный фактор... Вы близко знаете Димку? Простите, з-з... Дмитрия Егоровича?

— Он хороший человек,—тотчас отозвалась Вера.

— Весельчак такой, правда? Всегда рот до ушей? Голубей гоняет? А у него жесточайшая травма позвоночника. Могу поспорить: он и не заикался об зтом!

— Мы только догадывались, что ему больно,— сказала Вера.

— Ему любое движение доставляет боль. Сидеть больно, ходить больно. Просто поразительно, что он терпит, и не жалуется, и работает...

— И с вышки прыгает.

— За зти прыжки я его вздую,— сказал Канторович.— Набрался прыти! Это уже хулиганство! Но вообще-то, между нами говоря, я ему завидую... Дружим почти сорок лет. И все зти сорок лет я ему завидую. Он молодец, Димка.

Канторович начал прощаться, но тут прямолинейный Сережка решил внести полную ясность:

— Значит, можно считать— он поправится?

Канторович закурил новую сигаретку. Сдул с нее пепел.

— Думаю, голубей с ним еще погоняете. Хотя, по всем научным представлениям, зто немыслимо и противоестественно...

— Надеетесь на зто мумиё? — спросил Павлик.

— Надеюсь на Димку,— сказал профессор.— На Дмитрия Егоровича Озерова. И на его друзей.

Они ехали обратно по темному больничному парку, мимо корпусов с забеленными окнами, а навстречу все попадались фургончики «Скорой помощи».

— Обычно-то не замечаешь,— сказал шофер,— сколько людей в беде находится. Около тебя, рядом совсем... А неплохо бы всегда помнить.

— Да,— сказала Валентина.— Верно.

Павлик откинулся на сиденье, хмыкнул:

— Но я так и не понял: зря мы сегодня колбасились или не зря?.. Сплошной туман в зтой медицине.

Вера обернулась к нему. Ее глаза странно светились в полумраке.

— Не понял?

— Не-а.

— Плохи твои дела. Вот у отца на работе я видела плакатик. Над столиком повешен. Высказывание знаменитого физика Альберта Эйнштейна...

— Из теории относительности?

— Нет, просто из жизни. Если, мол, человек спрашивает, зачем он должен помогать другим, то ему уже не втолкуешь... Безнадежно. Нормальные люди такой вопрос и не задают даже. Они просто помогают.

— Нет,— сказал Сережка.— Ты уж очень. Наш Павлик в общем-то нормальный. Только слишком увлекается поззией, а она... как там, по Пушкину? Должна быть глуповатой?

— Одни грубости на уме,— сказал Павлик.

II. Четверо на крыше

1

Николай Николаевич сидел во дворе на скамеечке, ожидая какого-нибудь партнера для шахматной игры. Но никто не подвертывался, и Николай Николаевич, разомлев на солнышке, оглядывал двор и неторопливо размышлял.

Нынче все располагало к благодушию. В разгар осени вдруг выдался теплый, совершенно летний денек. Сияло незамутненное небо, складчато переливался воздух над асфальтом. Люди, даже самые осторожные и недоверчивые, напуганные фокусами погоды, шли сегодня без пальто. И если бы не пергаментно-прозрачные листья, текущие с деревьев и шуршащие на дорожках, ничто бы не напоминало про осень, хозяйничающую в городе...

— Митя-а, домой!..— разносилось над двором. Это бабка, выглядывая из окна, окликала заигравшегося внука.

Сколько Николай Николаевич помнил, зтот оклик постоянно витал над двором. Только имена детей менялись. Есть в нашем мире, думал Николай Николаевич, неизменные вещи. Бессмертные и незыблемые.

Напротив, на другой стороне газона, расположились мамаши с колясками. Мамаши были разные: кто помоложе, кто постарше. И коляски были разные: то сверкающие никелем, на рычагах и пружинах, а то попроще и подешевле. Но любая из мамаш, с любой коляской сейчас напоминала мадонну. Правильно поступали великие художники прошлого, ища внутреннюю, более высокую красоту. Николай Николаевич их отлично понимал. Даже самая некрасивая из мамаш была сейчас прекрасна. И прекрасны были младенцы, безотчетно поглощавшие кислород и ультрафиолетовые лучи. Сердце Николая Николаевича млело от зтой картины.

А невдалеке, у подворотни, какая-то чужая старушка прогуливала собачек. Она была изысканно одета, вся в жемчужно-сиреневой гамме, и две ее собачонки, будто связанные из шерсти, тоже были сиреневатые. От них, наверно, пахло шампунем.

Старушка явно демонстрировала себя. Но выбрала для зтого неудачное место. Мамаши смотрели иа нее отрешенно и бесстрастно, словно с горных высей. Жемчужно-сиреневый наряд не вызывал ничьей зависти. А искусственные собачки были так малы и писклявы, что не угрожали покою младенцев. Их тоже никто не замечал.

Сама же старушка, вероятно, одинокая и потому нищая в своем богатстве, невольно посматривала на мамаш. Посматривала и, очевидно, тайно завидовала...

Николай Николаевич ее тоже вполне понимал. Он дожил до глубокой и почтенной старости, многое повидал, успел многое сделать, а вот детей и внуков у него не было. И частенько Николай Николаевич сокрушался об зтом. Без сожаления он отдал бы все свои ученые степени, и квартиру, и бесценные коллекции в обмен на самое простое — обычную семью. С детьми, внуками, правнуками. Пускай даже такими, которых не загонишь домой со двора...

— Митя-а, домой!..

Николаю Николаевичу известен зтот Митя. Вон он — повис на скамейке вверх ногами. Такого разбойника свет не видывал.

Вот что, например, случилось нынешней весною. Работая у себя в кабинете, Николай Николаевич услышал какое-то царапанье, доносившееся с кухни. Он решил, что звуки издает голубь, залетевший на балкон в поисках корма. С хлебной корочкой в руках Николай Николаевич пошел выручать беднягу.

Но это был не голубь.

За балконной дверью, сплющив нос о стекло, нетерпеливо переминался Митенька. На балконе еще дотаивали остатки снега, брызгала капель. А Митенька стоял без шапки, в рубашечке.

— Ты простудишься! — вскрикнул Николай Николаевич, с треском распахивая заклеенную, законопаченную на зиму дверь.

Митенька, оставляя грязные следы на полу, промчался через кухню и прихожую, на бегу восклицая:

— Здравствуйте!... Нет, там жарко!.. Спасибо! До свидания!

Он мгновенно отомкнул замок, выскочил на площадку и пропал. Обескураженный его стремительностью, Николай Николаевич закрыл дверь и вернулся в кабинет. И только здесь он спросил себя: а как, собственно, Митенька очутился на балконе?

Квартира Николая Николаевича размещалась на верхнем этаже. Балкон был индивидуальный. Снаружи попасть на него было нельзя — разве что опуститься на крыльях... Изумленно похмыкивая, Николай Николаевич опять вышел на холодный, мокрый от капели балкон. Нет, веревка с крыши не свешивалась. Строительных лесов не было. А на зернистом сугробе, в нарушение всех законов природы, темнели отчетливые Митенькины следы...

Впоследствии Николай Николаевич неоднократно пытался раскрыть тайну. Беседуя с Митенькой и усыпив его бдительность отвлеченными рассуждениями, Николай Николаевич внезапно спрашивал: «Ну, а как ты на балконе моем очутился?» Митенька только жмурился по-кошачьи. Хитрости у него тоже хватало...

Впрочем, когда Николай Николаевич беседовал с ним, когда заглядывал в его бессовестные прижмуренные глаза, превращаться в следователя не хотелось. Гораздо больше хотелось пощекотать у разбойника за ухом, взъерошить ему волосы или сделать что-нибудь еще столь же непедагогичное.

Когда такой вот разбойник сидит у тебя на коленях и жмурится, педагогическая наука отступает на задний план. Почему-то вспоминаешь, что у корифеев этой науки семейные дела не всегда были в порядке...

Минут через пять Митенька пронесся мимо Николая Николаевича, поддавая ногой полосатый нейлоновый мяч. Разумеется, чужой. Этот мяч был отобран у беззащитной девчонки, не посмевшей и пикнуть.

Тряся локонами, девчонка бежала сзади. Она понимала, что сопротивляться бесполезно. Митенька сейчас был стихийным бедствием, разновидностью смерча, и этот смерч подхватил девчонку и поволок за собою. Где тут сопротивляться...

Мяч просвистел над шерстяными собачками. Они, пробуксовывая лапками, кинулись было вдогонку, но сразу отстали. Мяч летел, как снаряд.

Вот он ударился в двери подъезда, распахнул их; Митенька влетел внутрь — как футболист во вражеские ворота, туда же втянуло девчонку...

Николай Николаевич крякнул, восхищаясь разбойничьей удалью. Если б он знал, что произойдет в ближайшие полчаса! Не восхищался бы. Но будущее сокрыто от человеческих глаз, и Николай Николаевич остался спокойно сидеть, нежась на солнышке. Мамаши с колясками тоже ничего не подозревали.

Мир, тишина царили во дворе. Ничто их не нарушало — даже однообразный настойчивый возглас, доносившийся из окна:

— Митя-а, домой!..

2

Взрослые люди нелюбопытны. Никто из них, например, не пробовал играть в футбол на лестнице. А это восхитительное занятие — вместо ровного поля перед тобою ступеньки, возносящиеся вверх; мяч скачет по этим ступенькам, ты гонишь его вперед, а он скатывается обратно; во всем подъезде гул, грохот и звон, дребезжат стекла, открываются двери, высовываются испуганные жильцы и смотрят вниз, свесясь через перила, а ты давно уже проскочил мимо, ты давно над их головами, неуловимый и безнаказанный... Вот это игра! Просто жаль взрослых, которые ничего не понимают в жизни.

Оставляя за собой громокипящую волну звуков, Митенька взлетел на последний этаж, а затем — и на чердачную площадку. Там была единственная дверь, без номера и без электрического звонка, и она оказалась приоткрытой.

Точным ударом Митенька загнал мяч в полутемную щель. Мяч сверкнул полосатым боком и сгинул, исчез в неизвестных пространствах.

Не раздумывая, Митенька ринулся за ним. Это великолепно, что можно проникнуть на чердак. Митенька никогда здесь не бывал, а наверняка тут интересно. Иначе взрослые не запирали бы чердак и не вешали на дверь чудовищной величины замок.

Любому нормальному ребенку известно, что самые запретные вещи как раз самые интересные.

И Митенька нырнул, как в воду, в таинственный сумрак и в неслыханные, неведомые запахи чердака. Митенька чувствовал, как настораживаются его уши, как глаза разгораются кошачьим зеленым огнем.

Он увидел над собой могучие деревянные балки, схваченные железными скобами; на балках — разводья известки и голубиного помета, вековую пыль, паутину... Эх, какая потрясающая здесь была паутина! Плотная, как занавески, с четким рисунком, напоминающим стрелковую мишень. Жаль, что Митенька не захватил воздушный пистолет,— вот была бы стрельба!

А слева и справа, будто подпирая крышу, белели кирпичные трубы с растрескавшимися нашлепками штукатурки; какие-то ржавые заслонки и дверцы виднелись на трубах, какие-то четырехугольные отдушины зияли... Из каждой такой отдушины мог кто-то выскочить. А за каждую дверцу можно было заглянуть самому. Это же счастье!

Он даже замедлил шаги, растягивая наслаждение. Может, сначала дождаться девчонку Клавку, у которой он отобрал мяч? Вон слышно, как она топочет по лестнице. Сейчас она сунется в дверь, и просто грешно не напугать ее до смерти. Ее надо напугать как следует, а потом уже, дрожащую, посиневшую от страха, вести по чердаку, сквозь паутинные завесы, от отдушины к отдушине...

Он знал, что Клавка и это стерпит.

Наивные взрослые полагают, что любовь бывает только в их возрасте. А она бывает гораздо раньше. Прошлой зимой Митенька еще был в детском саду, и, когда ребят водили на прогулку, Митенька упорно выбегал из строя и шел рядом, будто он командир. Воспитательницы ничего не могли поде-

лать. Все перепробовали — и ласку и строгости, но Митенька продолжал выбегать из строя.

Воспитательницы не знали, что Митя безумствует от любви. Была в их группе хроменькая девочка, в которую все мальчишки втрескались. Оно и понятно — девочка была особенная, непохожая на других. Вот и Митенька, чтобы сделаться особенным, чтобы девочка его заметила, начал выбегать из строя.

Незачем говорить, что воспитательницы напрасно загоняли его обратно. Никакая сила не заставила бы его вернуться в строй. Ибо он любил.

И девчонка Клавка тоже любит. Лицо у нее делается совершенно глупым от счастья, когда она смотрит на Митеньку. А если Митенька висит на скамейке вниз головой, или бегает по бортику фонтана, или вскарабкивается на дерево, девчонка Клавка и восхищается и страдает одновременно. Она с удовольствием свалилась бы вместо Митеньки на землю. Вместо него бухнулась бы в холодную воду. Потому что страдать из-за любви и жертвовать собой из-за любви — наслаждение.

Девчонка Клавка не пикнула, когда Митенька отобрал у нее мяч, и безропотно поволоклась за Митенькой через двор и по лестнице до самого чердака, и сейчас, обмирая от ужаса, полезет в чердачную темноту. Ее тоже ничто не остановит. И чем больше ты будешь пугать девчонку Клавку, чем сильнее заставишь страдать, тем приятней ей будет.

Взрослые люди читают детям сказочки. Например, про какую-нибудь Марью-царевну, что отправилась искать своего жениха за тридевять земель и на зтом пути шла через леса и горы, перебиралась через моря и реки да вдобавок побеждала и Кощея Бессмертного и бабу-Ягу. Взрослые читают такие сказочки, а сами ни капельки в них не верят. Взрослым кажется, что ничего похожего не бывает. Да и в самом деле, кто из взрослых сейчас отправится из-за любви за тридевять земель, кто истопчет чугунные башмаки, каменный сухарь изгрызет? Смешно. Нету таких взрослых. Но сказочные герои все-таки не перевелись, их можно встретить в любом детском саду. Вон девчонка Клавка — ничего другого ей и не надо, дай только лес погуще да речку поглубже, через которую надо переправляться!

Митенька отодвинулся, прячась за трубу, и устремил хищный взгляд на полуотворенную дверь. Сейчас, сейчас... Покажись только девчонка Клавка. Получишь полное удовольствие.

В полоске света, наискось падавшей с лестничной площадки, появилась вздрагивающая Клавкина рука. Качнулся и вспыхнул белобрысый локон, мелькнуло просвечивающее, как апельсиновая долька, Клавкино ухо... Митенька напружинился, набрал в грудь воздуха...

И в зтот миг наверху, по черному куполу кровли прокатился железный гром. Все пространство чердака, замершее в постоянной тишине и мраке, внезапно пробудилось, зазвенело, заголосило... Эхо отозвалось и заметалось средь балок, посыпалась откуда-то ржавчина. Заплескал крыльями невидимый голубь.

Забыв о Клавке, Митенька мгновенно распрямился. Что зто? Откуда гром? Ага, это кто-то ходит по крыше! Великанские шаги прогромыхали над головой и теперь удаляются, будто рыцарь, весь закованный в тяжкие доспехи, скрипя суставами, медленно движется по крыше... У обыкновенного человека не может быть такой страшной поступи!

Надо немедленно убедиться, увидеть собственными глазами!

Митенька с застучавшим сердцем кинулся в глубь чердака, увязая сандалиями в рассыпчатом пыльном песке, которым был засыпан пол. Приходилось лавировать среди труб, перемахивать какие-то низкие кирпичные перегородки; крепкая паутина, будто сплетенная из нейлона, с трудом рвалась под Митенькиными руками.

А сзади, постанывая от кошмарных видений, топотала девчонка Клавка. Митенька оглянулся мимоходом и заметил, что Клавка тащит в руках полосатый мяч. Это надо же: колотится от ужаса, но мяч все-таки подхватила, чтоб не потерялся. Во героизм!

Ослепительно засиял впереди голубой треугольник. Это слуховое окошко. И оно тоже открыто, можно по деревянной лестничке, сбитой из досок, подняться к нему и выскочить на крышу. Просто невероятное везение!

Слепит голубой треугольник, притягивает. А сумрачные закоулки чердака сразу потеряли половину привлекательности. Все зти трубы, отдушины и пыльные углы можно обследовать на обратном пути. Они никуда не денутся, а вот великан, громыхающий доспехами, может перешагнуть на соседний дом и скрыться... Скорей на крышу! Скорей! Отбарабанили под подошвами дощатые ступеньки, ударило в лицо сквозняком, обожгло пальцы нагревшимся кровельным железом... Выбираясь на крышу задом наперед, Митенька вновь увидел девчонку Клавку. Она продолжала совершать чудеса. Прижимая к животу полосатый мяч, Клавка взбиралась по лестничке, не держась за перила. Руки-то были заняты. Ни один матрос на свете, ни один циркач не смог бы, наверное, повторить такой номер. Глаза у Клавки, вытаращенные от напряжения, полыхали безумной решительностью.

...Не было на крыше великана, закованного в доспехи. Железный гром производили обычные люди. Оказывается, двое дядек — вероятно, монтеры — устанавливали телевизионную антенну. Старую — заржавевшую и погнутую — они сняли, прислонили к кирпичной трубе. А новенькую, с матово поблескивающими перекрестьями трубок, сейчас закрепляли оттяжками.

Один из монтеров, молодой, разделся до трусов и половину лица закрыл пластмассовыми солнцезащитными очками. Он смахивал на купальщика, только что прибежавшего с пляжа. Второй монтер, пожилой, парился в наглухо застегнутом комбинезоне, кепке и брезентовых рукавицах; лицо его лоснилось от пота. А еще он был привязан к трубе веревкой. Здоровенная крученая веревка, пристегнутая к его поясу, волочилась за ним, когда он ходил по громыхающей, прогибающейся кровле.

В общем, поглядев на дядек, можно было разочароваться. Шумели-то они здорово, но собой ничего особенного не представляли. И все-таки Митенька не пожалел, что выбрался на крышу.

Никогда он не видел города с такой высоты. Да и не предполагал, что бывает на свете зтакий простор — с расплескавшимся солнечным сиянием, текучим ветром, с мощным, как прибой, равномерным гулом, поднимающимся со дна бесчисленных улиц...

Впереди четко светились какие-то громадные корпуса с лентами окон, сияли сплошные пояса радужного стекла; за ними торчала заводская труба, как розовая свеча, на нее только что дунули, загасив пламя, лишь тающий дымок остался; за трубой уступами до самого горизонта уходили крыши других домов, и в самой дальней дали, над последними крышами, торчала старинная колоколенка, похожая на граненый карандаш.

Справа и слева видиелись клетчатые, редко поставленные башни, по колени затопленные рыжей листвой деревьев; сзади играла, вспыхивала чешуей медленная река; узкий мост повис над ней невесомо, как радуга; еще дальше, за мостом, толпилось стадо желтых подъемных кранов, степенно раскланивающихся друг с дружкой...

Даже девчонка Клавка — и та замерла рядом с Митенькой, пожирая глазами открывшиеся беспредельные миры.

3

Пожилой монтер, грузный и одышливый, работал с профессиональной неспешностью, спокойно, ни на что не отвлекаясь. Для него в этом занятии не было новинок.

А молодой был порывист, переменчив. То напевает что-то бодренькое, закручивая пассатижами проволоку и любуясь своей работой, а то вдруг, запрокинув лицо, молча и пристально засмотрится на небо. Мечтает? Грустит?

— Сколько я этих антенн понаставил... — медлительно сказал пожилой.— Тыщи. Прямо лес железный. А вот до сих пор не понимаю, как они действуют.

— Чего тут непонятного? — спросил молодой.

— Принцип ихний раскусить не могу. Ведь чертовщина какая-то. Вот железяки мертвые. Вот провод без току. А воткнешь — и в телевизоре тебе Райкин во всю будку. Как оно взаимодействует?

— Бывают хитрей загадки,— отозвался молодой.

— Эй! Ты опять от веревки отстегнулся?! А ну, прицепись! Не хватало еще за тебя отвечать!

— Да я не кувырнусь,— сказал молодой, снимая очки и вертя их на пальце.

— Мало ли...

— Ничего не стрясется, дядь Сема. По простой причине — я трус...

— Вона чего. Новая новость.

— Нет, давно проверено. Мечтал в летчики попасть. Когда брали в армию, попросился в десантные части. Все-таки к небу поближе... Вот там и проверил себя. Повезли с парашютом прыгать, все прыгнули, а я не могу. В глазах темно, судорога бьет... Инструктор после сказал, что это встречается. Психологический барьер.

— И не перешагнуть его, значит?

— Есть люди, которым — никак.

— Ну и наплюй. Кабы у тебя одного такой барьер...

— Я наплевал. Только ведь обидно, дядь Сема. Обидно себя трусом-то чувствовать.

— Мне известно, какой ты трус,— сказал пожилой, швыряя ему веревку.— Отчаянней паразита во всем городе не найдешь! Цепляйся, тебе говорят!

— Если что — извини...— улыбнулся молодой.

— С тобой только нервы мотать! Я б таких выше второго этажа вообще не пускал! Внизу бы сидели!

— Не могу,— вздохнул молодой.— Тянет под облака-то... Влечет, дядь Сема.

— В самолете не смог, так здесь наверстываешь?

— Если откровенно, я и здесь боялся. Влезу, бывало, а в коленках вибрация. Но оказалось, можно себя за шкирку взять.

Пожилой оторвался от работы и спросил, удивленно моргая:

— Так что... желаешь перешагнуть барьер-то? И опять туда? — Он ткнул отверткой вверх.

— Опять. Пошел вот, в аэроклуб записался.

— Вон, стало быть, зачем ты на моих нервах дрессируешься! Паразит ты, Володька. Хиппи ты, и больше никто.

— Извини, дядь Сема.

— Тянет его! Жизнь поломать охота? Семью заимел, квартира тебе обещана, зарабатываешь — дай бог. Какого ещё рожна?

— Не знаю. Хочется.

— Вот это и есть самое вредное! — заявил пожилой.— Самое вредное: когда хочется незнамо чего! Ступай, отвяжи меня от трубы... Человек, Володька, должен жить здраво. Без фокусов. Всякой чертовщины полно кругом, и ежели она внутри человека еще заведется — это будет чересчур. Это поголовный сумасшедший дом будет.

Они закончили работу. Молодой отвязал от трубы веревку, взгромоздил на плечо ржавую антенну. Он посмеивался.

— А вообще-то, дядь Сема, эти железки не мертвые...

— Они притворяются?

— Просто в них радиоволны. Мы не чувствуем, а железки улавливают.

— Вот я и говорю,— подтвердил пожилой,— чертовщины кругом хватает. Успевай открещиваться.

Громыхая башмаками по крыше, монтеры дошли до слухового окна. Побросали внутрь сумки с инструментами, спустили антенну, потом сами протиснулись в окошко. Пожилой захлопнул скрипучую рассохшуюся раму, защелкнул ее на два шпингалета.

Затем они прошли по чердаку, с трудом протаскивая неуклюжую антенну между трубами и перегородками. Выбрались на лестничную площадку. И долго закрывали на ключ массивную чердачную дверь, потому что замок был старый, несмазанный, и его заедало.

— На, снеси-ка дворничихе...— сказал пожилой, протягивая напарнику связку ключей.— А то я устал чего-то. Ноги к погоде ноют.

4

Завидя приближающихся монтеров, Митенька схватил девчонку Клавку и скрылся за ближней трубой.

Он не боялся, что ему попадет. Ничего бы эти дядьки не сделали. Когда взрослые обещают надрать уши, начесать ремнем или отлупить как сидорову козу — это преувеличение.

Митенька просто опасался, что дядьки прогонят с крыши. А остаться здесь было необходимо. Еще не исследованы гремящие под ногой железные склоны, еще не удалось взобраться на трубу с металлическим колпаком, еще не покачался Митенька на проволочных оттяжках, держащих антенну. Множество приключений ждет впереди.

И Митенька успел вовремя спрятаться от дядек. Они прошагали совсем рядом и ничего не заметили.

Митенька торжествующе следил за ними, подобно дикому барсу, притаившемуся за скалой. Еле он удержался, чтоб не прыгнуть кому-нибудь на спину. Вот бы дядьки шарахнулись!

Особенно заманчивой выглядела темная, шоколадная спина молодого. Здорово он загорел. Наверное, солнце печет на крыше гораздо сильней, чем на земле.

Едва монтеры убрались в чердачное окно, Митенька начал стаскивать с себя джемпер.

— Ты чего это? — спросила недалекая Клавка.

— И ты снимай! Загорать будем!

— А зачем?

— Во недотепа... Видела же, какой он черный! Ему и мыться не надо!

— Почему не надо?

— Во недотепа... Потому, что и грязи не видать!

— Отвернись тогда,— потупив глаза, произнесла Клавка.

Оказывается, она стеснялась. Она воспитанная была. Ладно, Митенька отвернется. И пусть Клавка разденется, не выпуская из рук мячика. Положить-то его некуда. Крыша наклонная.

Было слышно, как Клавка пыхтит за трубой. Старательно пыхтит. Старайся, старайся, но даже и у тебя есть предел возможностей...

— Можешь повернуться,— сказала Клавка.

Она стояла, прижимая мячик к голому животу. А платье висело на проволочной растяжке.

Да, Митенька ошибся — Клавка была всемогуща. И впервые Митенька уставился на нее с почтительным любопытством...

Ни он, ни Клавка не подозревали, что в эту минуту дядьки запирают чердачную дверь на громадный висячий замок, скрежещущий своими челюстями.

5

Сережка сидел и смотрел, как Вера зашивает его рубаху. Ему неловко было. Он стеснялся своего полуобнаженного вида, своих мускулов, развившихся от занятий в секции самбо. И синяков Сережка стеснялся. Среди них были такие синяки, что ладонью не закроешь.

— Где подрался-то?

— Я не дрался,— сказал Сережка.— Я восстанавливал справедливость.

— Восстановил?

— Частично. Их было трое на одного, этих лбов.

Вера откусила нитку.

— Представляю, что осталось бы от рубахи, если бы ты полностью восстановил... Возьми гладильную доску за дверью.

Пока нагревался утюг, Вера выглянула в окно. Просто так, бесцельно. И вдруг Сережка услышал, что она присвистнула.

— Смотри, куда Митька с Клавой забрались! Загорают...

Соседний дом был ниже, и его двускатная кровля из белесого оцинкованного железа была на уровне Вериного этажа. Явственно виднелись обси-

женные голубями, давно бездействующие трубы, новенькая телевизионная антенна, треугольное слуховое окно с переливчатыми стеклами.

— Шугануть? — спросил Сережка.

— Обожди. Окошко чердачное закрыто...

— А как же эти Фантомасы забрались?

— Тут монтеры меняли антенну. Ушли, окно закрыли. А их, наверное, не заметили...

— Что делать?

— Попробуем так...

Сережку всегда потрясала ее мгновенная реакция. Нормальный человек еще с мыслями не собрался, еще опомниться не успел, а Вера уже действует. Однажды Сережка схватил с плиты горячую сковородку. Известно, что тут срабатывает рефлекс — рука отдергивается. Сережкина рука тоже отдернулась, и брызгающие маслом, шкворчащие котлеты полетели на Верино платье.

Верней — полетели бы. Неизбежность была стопроцентной. Вера не ожидала, что Сережка выпустит сковородку. Вера не могла к этому подготовиться. И все-таки она сделала мгновенный полуоборот, прижала подол платья рукой — и котлеты, описав плавную траекторию, шмякнулись на пол.

Имей Сережка такую реакцию, он стал бы чемпионом по самбо.

— Найди дворничиху,— сказала Вера.— Возьми ключи. Если нет — взламывай дверь на чердак. Только не напугай. Самое опасное — их напугать сейчас!..

Свесясь из окна, Вера смотрела на ребятишек, стараясь не выдать встревоженности. В этот миг Клавка выронила из рук полосатый мяч, а Митенька кинулся его догонять.

Все произошло оттого, что минуту назад Митенька впервые поглядел на Клавку с почтительным любопытством. И девчонка Клавка, ощутив на себе этот взгляд, моментально зарделась. Непроизвольным движением она подняла руки, чтоб поправить растрепавшуюся прическу. Нет на свете женщины, которая под ласковым взглядом не начала бы прихорашиваться...

Мяч выскользнул из Клавкиных рук, покатился под уклон, и Митенька бросился его ловить.

Митенька желал угодить Клавке. Нет на свете мужчины, который, ласково глянув на избранницу, тем бы и ограничился...

Катился мячик. Бежал за ним Митенька. Бежать по склону было легко; певуче вызванивали под ногой железные листы.

Мячик подпрыгнул, ударившись о желоб на самом обрезе крыши. С разлету Митенька ухватился одной рукой за прутья ограждения и попытался поймать мячик.

Ограждение, как и весь этот дом, было старое. Качались его стойки, слоистые от ржавчины. Именно поэтому пожилой монтер привязывался к трубе веревкой — ограждение могло рухнуть.

Митенька, уцепившись за ржавый прут, тянулся к мячику. Мячик застрял в желобе, и никак не удавалось маленькой пятерней ухватить скользкий нейлоновый бок.

— Митя! — беззаботным тоном окликнула Вера.— Брось ты его!.. Хочешь, я приду и вытащу?

Надо было заставить Митеньку отойти от обреза крыши.

Пока Митеньке везло. Он еще не понял, не осознал опасности. Он не успел еще вниз посмотреть...

— Митя, оставь его там!

Выпятив губы, Митенька изо всех сил тянулся к мячу. Пальцы скребли по нейлону.

Качнувшись, мяч перевалился через бортик и полетел вниз.

Крутясь, уменьшаясь с неожиданной быстротой, превращаясь в розовую точку, он падал все ниже и ниже — туда, в глубокое ущелье переулка, наискось поделенного светом и тенью, туда, где полз по узенькой мостовой автобус, похожий на спичечный коробок, и где суетились крохотные человечки, этакие булавочные головки на тоненьких ножках...

Митенька нагнулся, следя за падавшим мячом. И увидел всю глубину, всю жуткую пропасть под собой.

Даже Вера заметила, как напряглась и побелела Митенькина рука, державшаяся за прут. Митенька оцепенел. Он не мог шевельнуться, но все смотрел вниз, в гулкую эту пропасть.

Вера вспрыгнула на подоконник. Еще раньше она увидела, что по стене — через весь фасад — тянется неширокий, местами облупившийся карнизик.

По нему можно добраться до соседней крыши.

Вера не думала, насколько это страшно. Она не знала, сумеет ли вообще пройти по этой узкой полосочке, где и ступня-то не помещалась целиком. Держась за оконную раму, Вера сползла на карниз. Кое-как выпрямилась. Отпустила раму и сделала первый неуверенный шаг... Спиной она чувствовала штукатурку стены, неожиданно холодную, совсем не нагревшуюся от осеннего солнца; песчинки скрипели под подошвами. Щелкнув крыльями, сорвался с карниза голубь, и Вера едва удержалась, чтоб не проводить его взглядом...

6

Сережка ссыпался вниз по лестнице и лишь во дворе сообразил, что забыл надеть рубаху. Но возвращаться было некогда. Пришлось выставить синяки на обозрение всему двору. И пришлось сбросить скорость возле скамеек, где сидели умиротворенные мамаши с колясками. Паника сейчас не нужна.

Ощущая каждый свой синяк и вообще чувствуя себя как под перекрестным огнем, Сережка проплыл мимо скамеек с ленивым выражением на лице.

— Дворничиху не видели? — спросил он Николая Николаевича.

Тому, вероятно, до смерти хотелось поговорить. Поделиться мыслями, навеянными столь замечательной погодой. Близоруко прищурясь, Николай Николаевич осмотрел Сережкин торс:

— Когда-то и я увлекался физической культурой...— сообщил он.— Тоже получал синяки. Это ничего... Сейчас, правда, некоторая вольность в одежде не позволяет их скрыть... Х-гм... Предпочитаете бокс или французскую борьбу?

— Самбо,— сказал Сережка.— Где дворничиха, Николай Николаич?

— Я ее в магазин отправил. Самбо? Ага, вспоминаю... В мое время это называлось «джю-джицу».

— Джиу-джитсу — это другое. Она скоро придет?

— Это не другое. По тогдашней транскрипции следовало писать «джю-джи-цу»... Затем появился термин «дзю-до». Отлично помню, как я осваивал эту... х-гм... науку по самоучителю. Прежде были многочисленные самоучители! А дворничиха, я полагаю, вернется еще не скоро.

— Это точно?

— Я попросил ее сдать стеклотару. Знаете, не

могу взять в толк, почему это неразрешимая проблема. Колоссальнейшие очереди во всех приемных пунктах!

— Спрос превышает предложение! — наобум ляпнул Сережка, отступая от скамейки. Стеклотара была сейчас далека от Сережкиных интересов.

— М-да? — сказал Николай Николаевич.— Тонкое наблюдение. Х-гм... Знаете, синяки синяками, а я все-таки сторонник гармонического развития личности. Грустно, когда превалирует что-то одно. Бицепс, например.

Только этого комплимента и не хватало Сережке.

— Я не думал над этой проблемой,— сказал он.— Но я обещаю подумать, Николай Николаич.

Скрывшись за кустами, Сережка набирал скорость, близкую к рекордной. Через минуту он был у себя в квартире, где запасся связкой ключей и туристским топориком. А еще через минуту, злой и запыхавшийся, Сережка возник перед чердачной дверью.

Замок на ней был внушителен. Кажется, во времена Николая Николаевича такие замки прозывались «амбарными».

Сережка глядел на замок и молил бога, чтобы сейчас бицепсы не подвели. Пусть они в этот момент превалируют. Ни один ключ не подходит, шарахнуть по замку топором нельзя — жильцы сбегутся. Вся надежда на бицепсы.

Действуя топориком, как рычагом, он стал выдергивать замок. Чертов механизм артачился. Недаром говорят, что прежде кой-какие товары были лучшего качества...

— Не лает, не кусает и в дом не пускает...— шипел Сережка, налегая на топор.

Сломался не замок, а петля. Современная петля. Хвала некачественным товарам! Сережка выдохнул со свистом, потянул на себя дверь.

Она не открылась.

Сережка рвал за ручку, дергал в бессмысленной ярости, пока не понял, что дверь заперта еще на второй замок. Внутренний.

Странно, что дверь не загорелась под Сережкиным взглядом. Он опять вытащил связку ключей и, смиряя дрожь в пальцах, принялся отыскивать подходящий.

Наконец один из ключей повернулся в скважине. И дверь, гнусаво заскулив, отворилась сама собой.

Вздымая пыль, как самосвал на деревенской дороге, Сережка пронесся по чердаку, нашел окно, распахнул, выбрался на крышу...

Тут его ждал новый сюрприз.

За кирпичной трубой, схоронившись от ветра, загорали на разостланной одежке Клавка, Митенька и подруга Вера.

Да, и Вера была здесь.

— Ты откуда?!.

— Присаживайся,— пригласила Вера.— Отрегулируй дыхание.

Сережка нашел взглядом окно Вериной квартиры, увидел карнизик на стене. Долго пялился на него, уже все понимая и не соглашаясь поверить...

— Ты... совсем чокнулась?!. Зачем лезла?!

Девчонка Клавка, вертя на пальчике локон, объяснила:

— У нас мячик выронился, мы хотели достать... Митя, подвинься, мне неудобно! Недотепа какой!

Митенька отодвинулся без спора. Он был притихший, непохожий на себя, с тусклыми глазами. А девчонка Клавка наоборот — вела себя независимо.

— Всех бы вас здоровенной палкой!.. — сказал Сережка.

— Теперь шуметь незачем,— усмехнулась Вера.

...На дворе было по-прежнему сонно, безмятежно. Как лодки в тихой гавани, покачивались коляски с младенцами. А две шерстяные собачонки играли с нейлоновым мячом.

— Митя, забери у них! — распорядилась Клавка. Митенька побежал, не прекословя.

Вера смотрела на него со смешанным, неопределенным чувством. Она еще помнила, каким оцепеневшим от ужаса Митенька был там, на крыше. Первый раз в жизни он перепугался по-настоящему. И этот испуг, наверное, не скоро пройдет. На дворе одним разбойником будет меньше, и облегченно вздохнут Митенькины родители. И все-таки жалко, что глаза у него стали тусклые и покорные. Страх не самый лучший учитель...

Вера думала об этом и еще не знала, что главные-то переживания — впереди.

Уже на лестнице попахивало горелым, а когда они вошли в квартиру, там плавал дымок. Он неплохо смотрелся бы на речном берегу, над рыбацким костром, а в комнате выглядел лишним.

— Ты утюг забыла!!.

Включенный утюг приобрел за это время немыслимую радужную окраску. А подставка, тоже раскаленная, прожгла в Сережкиной рубахе три сквозные дыры.

Загасив мерцавшую искрами ткань, Вера подняла рубаху, расправила.

— Прямо следы от пуль...

— Это уже от снарядов,— сказал Сережка.

— Представляю, как мать обрадуется. Была новая рубашка, не успел надеть, как превратил в лохмотья... Ты думаешь, на кустах рубашки растут? Даром они достаются?

— Вещи надо беречь,— сказал Сережка.— В них вложен труд. Вот будешь зарабатывать, поймешь!

— Ладно. Кланяйся в ноги. На эти дырки я тебе присобачу накладной карман.

— А где возьмешь материю?

— Женская изобретательность не имеет границ. А ты сгоняй пока на чердак, привинти обратно замок. И вообще уничтожь следы.

— Надо ли?

— Надо. Чтоб матери с ума не посходили.

Сережка привык ей подчиняться. И он не был упрямым. Но сегодня ему надоело разгуливать нагишом по двору. Это уже смахивало на систему.

— Лучше дождусь, пока ты зашьешь...

— Майку надо под рубаху надевать! — закричала Вера.— Модник! Отправляйся немедленно!

Сережка ушел, оскорбленный, сопя от ярости. Наверно, этот гнев и задурил ему голову на ближайшие десять минут...

Вера принесла ножницы, иголку с нитками, попробовала взяться за шитье. Ничего не получалось. Дрожали руки. Она не заметила, когда это началось — еще во дворе или уже в доме,— но руки дергались, будто под электрическим током, и унять их было невозможно.

— Спокойно...— шептала себе Вера.— Спокойно... Ведь все кончилось, все позади...

Надо же, какая ерунда. Страх пережит, можно его забыть. А руки дергаются, будто помнят, как шарили по стене, по холодной скрипучей известке, боясь оторваться от нее...

Неужели и для Веры этот случай не пройдет бесследно? Неужели и в ней что-то сломалось, как сломалось в бывшем разбойнике Митеньке? Что делать, если безотчетный страх будет возвращаться, напоминать о себе, как отрава?

Она но предполагала, что вот так бывает. Что можно бояться не будущего, а прошлого...

Чья-то тень заслонила окно. Вера оглянулась. Хрипло дышащий, с белыми от известки ладонями, вскарабкивался на подоконник Сережка.

Спрыгнул на пол, вытер ладони о штаны. На физиономии — самодовольство.

— Доказал? — спросила Вера.

— Ничего я не доказывал... Просто решил себя проверить... Подумаешь, трудность.

Он лез по карнизику, чтоб себя проверить. Прекрасная цель для героя, самбиста, великовозрастной орясины.

И стоит, довольный, ничегошеньки не понимая... Вера хрястнула его по щеке и заплакала, не сдерживая слез.

Николай Николаевич заметил Митеньку, бегущего из подворотни с мячом.

— Наигрался? — спросил Николай Николаевич.— Хочешь, научу тебя в шахматы сражаться?

Митенька смотрел безучастно.

— Это превосходная игра! Если заняться ею в раннем возрасте, то... х-гм... добьешься особенных успехов!

— Мне надо мячик отдать.

— Неси, а потом возвращайся! Да, кстати, как ты на моем балконе очутился? Помнишь, весной?

— Там лесенка снизу,— сказал Митенька.— И дверка.

— Подожди, зто что же — там, оказывается, люк?!

— Люк.

— И ты забрался по лесенке, открыл его и влез на балкон?

— Я больше не буду,— сказал Митенька.

Николай Николаевич растроганно смотрел на него, чувствуя необоримое желание потрепать разбойника по затылку.

А над двором опять разнеслось:

— Митя-а! Домой!!.

И Митенька, бережно неся перед собой мячик, послушно затрусил к подъезду.

III. Каприз номер семнадцать

I

В школьном коридоре сотрясался пол, дрожали цветы на подоконниках, нарастающий гул катился по лестницам. Нет, землетрясения в зтот день не было. Просто раздался обычный последний звонок — кончились уроки...

Наверно, во всех школах на свете они кончаются одинаково: вулканическим исторжением радости. Топочут каблуки, взлетают над головами портфели, вопли и визг оглашают окрестность. «Эх, такую бы энергию — да на мирные цели!» — говаривал Павлик, если был дежурным. В другие дни Павлик несся в общем потоке, забыв о рассудительности.

Сегодня он как раз дежурил — пытался наводить порядок в раздевалке.

— Не развивай такую мощность!..— внушал он двухметровому старшекласснику.— Она чем измеряется? Лошадиными силами!

Мимо проскакивали самые юркие нарушители, мелочь из начальных классов; Павлик бросался за ними, как вратарь:

— А ты куда, молекула?!

— Пусти! Тороплюсь я!..

— Торопишься банку консервную гонять? Успеется!..

Вулканический гул постепенно стихал; редели на вешалках гроздья пальто и курток. Взмокшая нянечка присела на табурет — отдышаться.

— Надо, теть Фима, скользящий график вводить,— сказал ей Павлик.— Чтоб не штурмовали всем табуном...

— А сам? — спросила нянечка.— Вчера не штурмовал?

— Так заразительно. Не устоять.

— Чем-нибудь хорошим не очень-то заражаетесь!

— Да, зто странная загадка природы,— сказал Павлик.— Я и сам удивляюсь. Почему-то положительный пример не всегда притягивает. А отрицательный не всегда отталкивает.

Нянечка сбоку взглянула на Павлика.

— Загадка природы оттого происходит, что давно вас ремнем не дерут.

— Может быть,— сказал Павлик.— Но я же не могу, тетя Фима, просить об зтом родителей!

По лестнице, закинув на плечо облезлый портфель, спускался Сережка. Он не спешил, в общий поток его не втянуло.

— Уныло выглядишь,— заметил Павлик.— Пойдем развлечемся. В «Повторном» показывают могучий боевик.

— Американский?

— Почти. Все выпуски «Ну, погоди!».

Сережка скривил губы:

— Что-то не тянет.

— Опомнись! Миллионы людей переживают — стрескает Волк Зайчика или не стрескает!

— Уже понятно, что не стрескает.

— Тоскливо с тобой,— сказал Павлик.

Он-то знал, почему Сережку никуда не тянет. Секрет в том, что Вера осталась на гимнастическую тренировку. И Сережка будет мотаться по школе до конца зтой тренировки, чтоб проводить Веру домой. Смешным становится друг Сережка. Смешным и жалким.

— Она предупредила, чтоб не ждали,— деликатно напомнил Павлик.

— Она волнуется,— буркнул Сережка.

— Каприз номер семнадцать.

— Почему — каприз? Почему — семнадцать? Когда соревнования, я тоже волнуюсь! — Сережка весь ощетинился.

— У скрипача Паганини есть знаменитое сочинение: каприз номер семнадцать. Ля-бемоль для скрипки соло.

— Иди ты!..

— А у Верки — женский каприз. Семнадцатый за день.

— У нее даже руки трясутся!

— Пройдет. Не смертельно.

— Нет, я, пожалуй, все-таки останусь,— решил Сережка.

Не понимал он, что снова совершает промах. Если женщина капризничает, лучше не перечить. Нет смысла твердить дождику: «Перестань, перестань!» — умнее промолчать и раскрыть зонтик.

Павлик сдернул красную повязку:

— Додежуришь тогда? А я махну на Зайчика.

— Один?

— Со мной будут миллионы,— сказал Павлик.

Он набросил на плечи хрустящее кожаное пальтецо и удалился, втайне гордясь своим поступком.

Пусть хоть сегодня над Сережкой не будут издеваться. Мальчишки — народ неплохой, но крайне безжалостный.

А Сережка нацелил ловязку — совершенно ему не нужную — и уселся на барьер перед вешалкой. Начхать Сережке на то, как он выглядит. Ему надо было понять, что происходит с Верой. Никогда она так не волновалась. Шла сегодня на тренировку и колотилась, как в лихорадке. А когда Сережка спросил, что с ней такое, вдруг принялась неумело врать и притворяться. Странно это. Непонятно и очень странно.

Нянечка тетя Фима сидела невдалеке от Сережки, разглядывая фотографии в журнале «Огонек».

— Вон какой теперь представительный! — произнесла она любовно.— И не узнаешь Васятку!

— Какого Васятку?

— Да Алексеева! Который по тяжестям всех побивает! Он ведь из моей деревни, из Архангельской области, я всю ихнюю семью знаю... Жили мы рядом, а он, значит, завербовался в лесную промышленность. С одинадцати лет бревна ворочал.

Сережка мельком глянул на снимок, где чемпион Алексеев, подняв кверху страшные геркулесовы руки, улыбался, торжествуя победу. Штанга, похожая на вагонные колеса, прогибала помост возле белых его ботиночек.

— А теперь — мировой чемпион! Семьдесят рекордов побил!

— Жуткое дело!..

— Не... Я так думаю — бревна ему таскать тяжелей было! Теперь-то во все щеки улыбается!

— Теть Фим, я пройдусь по коридорам,— сказал Сережка.— Кажется, форточки хлопают. Ветер.

2

В физкультурном зале начиналась тренировка. Две команды — мальчишек и девчонок — готовили гимнастические снаряды. Кто-то чистил наждачной шкуркой скрипучую перекладину, кто-то устанавливал высоту брусьев. Спортсмены знают, что это самые приятные минуты — еще нет усталости, нет горького осадка от неудач и ошибок, а есть лишь азарт, нетерпение и удивительный прилив сил.

А учитель физкультуры был занят другим — он отчитывал первоклассника, незаконно проникшего в зал:

— Митя, ты опять?! Сказано тебе: не мешай заниматься старшей группе! Приходи в свое время!

— Мне очень хочется, Константин Семеныч! — ныл первоклассник.

— Немедленно покинь помещение!

— А мне хочется!..

На первокласснике были майка с чужого плеча и обширные голубые трусы. В этом наряде он казался бы жалким, если бы не решительно задранная голова и бойкие огонечки в глазах.

— Я все равно хочу!

— Да нельзя так часто тренироваться! Пойми это!

— А мне хочется!

В дальнем конце зала выдвинули коня для прыжков. Он поблескивал растопыренными копытами — словно ему крикнули «Тпр-ру!» и он затормозил на скаку. Лоснилась его высокая, прямоугольная, необъезженная спина.

Прыгать должны были девочки. Вера, немного озябшая в своем тоненьком тренировочном костюме, поеживаясь, пошла к стартовой линии. Наклонилась, посмотрела на учителя.

Тот взмахнул рукой.

Набирая скорость, Вера побежала вперед; все быстрей и быстрей мелькали ее тапки, ее ладони, рубившие воздух; вот щелкнул мостик, подкидывая ее вверх. Плавный переворот над конем. Мягкое приземление. Не качнувшись, Вера застыла с раскинутыми руками.

Учитель спросил первоклассника:

— Ну, как на твой взгляд?

— Мощно!

— Наберись терпения, будешь прыгать не хуже.

— Я сейчас хочу!..

— Ладно,— проговорил учитель, сдаваясь перед этой железной волей.— Начни разминку. Пробегись вокруг зала.

Повторять разрешение не было нужды. Митенька поддернул трусы и помчался по скользкому паркету. Как он старался! Как невесомо перелетал через шведские скамейки, через растяжки перекладины! И никто не заметил, что в упоении от бега Митенька лягнул пяткой гимнастический мостик. Мостик чуть отъехал в сторону. А Митенька был уже далеко. Школьный зал представлялся Митеньке громадным, как чаша олимпийского стадиона; Митенька покорял гулкое пространство, ненасытно пожирал его, и вздувались пузырями Митенькина майка и голубые трусы...

Вера пошла к стартовой линии, чтоб повторить прыжок.

— Давай! — скомандовал учитель.

Разбег. Мелькание пяток, словно бы оставляющих дымные, размытые следы в воздухе. Толчок о мостик. И внезапно, как подшибленная, Вера неуклюже шлепается позади коня.

Девчонки ахнули на скамеечке.

— Техническая ошибка, Константин Семеныч!..— неуверенно улыбаясь, сказала Вера учителю.— Наверно, мостик сдвинулся. А я не проверила.

— Не забывай проверять. Что за спешка?

Вера села на низкую скамеечку, сцепила руки на коленях. Смотрела, как прыгают остальные девчонки. У них все было нормально, никто не сверзился. Чувствовалась серьезная подготовка.

— Ну, еще раз, Верочка,— сказал учитель.— Спокойней. Исключи все технические ошибки.

Вера неохотно поднялась. Приставляя ступню к ступне, измерила расстояние до мостика. Поправила его. Казалось, она нарочно медлит.

На старте вздохнула глубоко и несколько секунд постояла с закрытыми глазами. Наконец рванулась, побежала... Но уверенности в движениях уже не было. Девчонки смотрели на нее с тревогой, и учитель был настороже — незаметно готовился подхватить.

И она снова упала.

Девчонки зашушукались на скамейке:

— Да что с ней? Будто сглазили!..

— Это ничего! — умоляюще глядя на учителя, сказала Вера.— Вы отойдите, Константин Семеныч! Я все-таки прыгну!

— Больше не надо.

— Я прыгну, вот увидите!

— Успокойся. Перестань об этом думать. Ты отлично прыгаешь, и незачем доказывать, что это случайность. Идем на брусья.

Они пошли в другой сектор и натолкнулись на бегуна Митеньку. Он уже был замучен, дышал загнанно. И все же с отчаянной старательностью несся вперед, работая локтями, толоча тощими птичьими ножками...

— Митя! — потрясенно воскликнул учитель.— Ты все бегаешь?!

— Ага! Я раз... ми-наюсь!..

— Сколько же кругов ты сделал?

— Много!!

— Ох,— сказал учитель,— я тебя недооценил. Дай руку!

Митенька протянул влажную ладошку, надеясь, что ее пожмут с восхищением и благодарностью. Но учитель стал нащупывать его пульс:

— Стой смирно, марафонец!

— А ч-чего?..— спросил Митенька, дыша разинутым ртом.

— Сделаешь один круг шагом! Только один круг! И больше я с тебя глаз не спущу!

Митенька поддернул трусы, повернулся и зашагал, как солдатик. Учитель с виноватой улыбкой смотрел ему в затылок.

— Каков, а?

— Наказанье нашего двора,— сказала Вера.

— Представляешь, чего он добьется, когда вырастет?

— Представляю,— ответила Вера.

3

Сережка несколько раз приоткрывал дверь физкультурного зала, подсматривая в щелочку. А затем, убедившись, что тренировка заканчивается, благоразумно вернулся в раздевалку.

Вскоре гимнасты толпой скатились по лестнице, расхватали свои пальтишки; учитель Константин Семенович повесил на доску массивный ключ от зала.

— «Огонек» последний видели? — спросила тетя Фима. Она все не расставалась с журналом.

— А что там?

— Да вот — земляком любуюсь! Чемпионом Алексеевым! Помню, был-то не ахти из себя, и питался скромно, молоко да картошка... А теперь вон — в медалях весь, как в чешуе!

Застегивая на первокласснике пальто, учитель сказал:

— Так и бывает, Ефросинья Никитична. Кто вот догадается, кем нынешние ребятишки станут?

— Нынешние, Константин Семеныч, другие совсем. Бревна ворочать не пойдут. А дай штангу, так развинтят по колесику, мотоциклет сделают и поедут по вертикальной стене!

— Считаете — слишком хитры?

— Ой-ей! Вон, которого застегиваете, он сегодня утром на пружине прискакал. Гляжу — в калошу пружина вставлена!

— Это зачем же, Митя? — удивился учитель.

— Для опыта! Чтобы скорость развить!

— Для опыта не обязательно калоши дырявить.

— Она и была дырявая!..

— Всего доброго, Ефросинья Никитична,— сказал учитель, стараясь не рассмеяться.— Пожалуйста, погасите свет в правом крыле. Идем, марафонец. Покажи свое изобретение в действии.

Учитель повел Митеньку к выходу. В отвислом кармане марафонца что-то малиново звенело.

А Сережка остался в вестибюле, тупо глядя на опустевшие, голые, как осенний лес, ряды вешалок. Теперь там висела единственная куртка — нейлоновая, с белизной на локтях, старенькая курточка Веры. Сама же Вера не появлялась.

Сережка подождал еще, невольно прислушиваясь к тиканью электрических часов над головой. Граненая стрелка отстригала минуту за минутой, раздражая своей методичностью.

— Я еще обход сделаю, теть Фим!..

Он промчался по коридорам, осматривая пустые классы, затем сунулся в библиотеку, в учительскую; на обратном пути подергал дверь физкультурного зала. Конечно, дверь была заперта — иначе Константин Семенович не повесил бы ключ на доску.

Вера исчезла. Будто в форточку выпорхнула.

Поскребывая в затылке и чертыхаясь, Сережка двинулся обратно. В этот миг в коридоре одновременно погасли лампы — это внизу, в вестибюле, тетя Фима дернула рубильник, отключая свет в правом крыле здания.

И в этот же миг из физкультурного зала, запертого на ключ, послышались грохот и отчаянный вскрик.

4

Вера понимала, что Константин Семенович не разрешит ей остаться в зале после тренировки. А остаться хотелось. И, выбрав минуту, Верка юркнула за груду пухлых брезентовых матов, наваленных у стены.

Ее не пугало, что дверь закроют на ключ. Пустяки. Забарабанит погромче — откроют, выпустят. И за самоуправство голову не снимут, все это можно пережить.

Есть огорчения посерьезней.

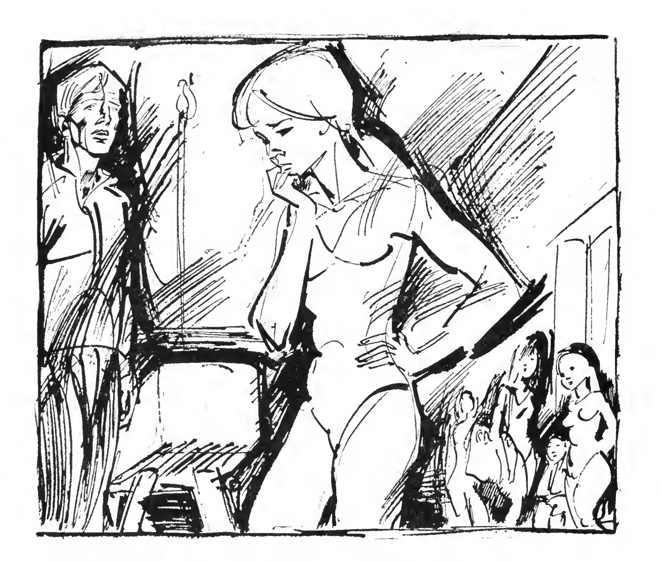
Вера не могла сегодня признаться Константину Семеновичу, что ее неудачные прыжки отнюдь не случайность. Учитель бы не поверил. Да и никто не поверил бы. Все привыкли к ее отчаянной храбрости — наша Верочка запросто кинется в драку с мальчишками, прыгнет на лыжах с трамплина, первой пойдет и на уколы в медпункт и к доске на экзаменах... Легендарное существо.

Никто не подозревает (пожалуй, кроме Сережки), что храбрость давно улетучилась. Остался в прошлом, отдалился тот день, когда Вера совершила последний смелый поступок. На крышу соседнего дома забрались тогда ребятишки — вот этот марафонец Митя и его приятельница Клавка,— их надо было выручать, и Вера полезла по карнизу шестого этажа. Это был последний смелый поступок, и это был первый случай, когда Вера по-настоящему испугалась. Много дней минуло, а она не может забыть холод известковой стены, за которую цеплялась ногтями, и голубя, внезапно сорвавшегося с карниза, и ту гудящую от ветра, поделенную светом и тенью пропасть, что была под ногами...

Страх не самый лучший советчик. Вера это почувствовала на себе. С того далекого дня она то и дело ловит себя на мыслях, что слишком осторожничает, пугается, заранее предвидит неудачи.

Казалось бы, если осторожничаешь, если избегаешь опасностей, то спокойнее жить. Но все происходит наоборот. Жить стало гораздо труднее. Видимо, недаром говорится, что трус гибнет на войне в первую очередь...

Вера старательно притворялась, будто ничего не произошло, пробовала хоть как-то справиться с собою, пыталась — от отчаяния — искать советы даже в книжках. У соседки по квартире была целая библиотека педагогической литературы, и Вера перечитала все, что мало-мальски поддавалось пониманию. Но результат не обрадовал. Только и выяснилось, что возраст в двенадцать-тринадцать лет является критическим, переломным, что в это время подростки особенно неуправляемы, то и дело впадают в крайности, проявляя и самые лучшие и самые скверные черты характера.



У Веры лучшие черты отчего-то не проявлялись. А скверных накапливалось — хоть отбавляй. Иногда она просто ненавидела себя, презирала. Ей чудилось, что она непонятным образом влезла в шкуру какого-то другого человека и не может сбросить ее, не может освободиться.

Неужели она еще не знала саму себя, не подозревала, какие дрянные черты есть в ее характере? И вдруг эти черты не случайные, не временные?

До чего дошло: она боится завтрашних соревнований. Обычных маленьких соревнований, даже не отборочных. Боится так, что заранее предсказывает себе неудачи, постоянно ждет ошибок и срывов. И, конечно, ошибки и срывы немедленно появляются, Вера начинает волноваться еще сильней, ошибок становится еще больше — и этот окаянный заколдованный круг ей не разорвать...

Она решила остаться в зале, чтобы — без посторонних глаз — устроить себе испытание. Надо в последний раз удостовериться, человек ты или букашка.

Вера так злилась на себя, что была согласна на десятую, сотую, тысячную попытку. Шишки и синяки подсчитаем поздней. Лишь бы хоть на минуту побороть страх — назойливый, прилипчивый, отвратительный страх, не дающий покоя.

Хоть бы раз его переломить!

Заперты двери. Пустой зал оглушает непривычной, неестественной тишиной. Блеск темных окон, блеск ярчайших ламп, отражающихся в паркете. Сквознячок из форточки.

Вера с трудом выдвинула коня, загнанного в угол, подтащила мостик. Пошла к стартовой линии. Она шла и приказывала себе ни о чем не думать, ничего не бояться.

А страх все-таки стучал по сердцу ледяным кулачком.

Она ощущала его и в тот миг, когда рванулась со старта и побежала вперед. Страх нарастал. И тогда она напрягла все силы, помчалась быстрей, как можно быстрей...

В сплошную линию слились отражения ламп. Запел воздух в ушах. С такой стремительностью Вера еще никогда не разбегалась.

Но уж если человеку не везет, так и на ровном месте споткнешься. Когда до мостика оставалось шагов пять, внезапно погас свет. Ни свернуть в сторону, ни остановиться Вера уже не могла. И во тьме, особенно густой в первые мгновения, Вера ощутила пружинящий толчок мостика, потеряла равновесие и с разлету ударилась о растопыренные ноги коня.

5

Учитель физкультуры ждал на трамвайной остановке свою жену. Стемнело. Гнилой ноябрьский снежок — пополам с дождем — облеплял фонари, затягивал ноздреватой пленкой асфальт. Чтоб не промокнуть, учитель забрался под козырек стеклянного галантерейного киоска.

Ждать пришлось долго. Подъезжали, стреляя искрами, трамвай за трамваем, забирали и высаживали спешащих, сгорбленных от непогоды людей. Все заметней темнело небо, а земля и крыши домов становились белее. Учитель ежился, отворачиваясь от ветра.

— Давно ждешь? Замерз?

Задумавшись, он прозевал появление жены — смеясь, она заглядывала ему под низко надвинутую кепку.

— Ну? Замерз?

— Ничего,— сказал учитель, целуя ее мокрую щеку.

— Сам виноват! Я приехала вовремя, а тебя нет. Я взяла и опять уехала. Переодеться.

— И правильно сделала.

— А ты почему опоздал?

— Да тренировка,— ответил он.— У нас завтра соревнования.

— Ну-ка, поднимай воротник! И застегнись хорошенько!.. Брр, какая погодка... Специально для прогулок. Ты придумал, куда нам пойти?

— Да понимаешь... я хотел заглянуть к одной девчонке из нашей школы. Очень надо.

— Болеет?

— Нет, ей выступать завтра. А она слишком нервничает.

— Не понимаю: ты обязан ее успокаивать? Даже после уроков?

— При чем тут обязанности. Хочу поговорить.

Падал дряблый снег, дымились фонари. Жена учителя провела пальцем по мокрому стеклу киоска, нарисовала рожицу.

— Ты ведь притворяешься, Костя. Тебе хочется, чтоб твоя девчонка победила на соревнованиях. Пусть на школьных, глупых, ничего не значащих соревнованиях, но все-таки победила...

— Естественно,— сказал учитель.

— Тогда бросай эту школу и возвращайся на тренерскую работу. Чего ты боишься?

— Я не боюсь.

— Ты боишься. И хочется и колется... Но спорт — это всегда риск. И ты когда-то умел рисковать.

Жена учителя стерла нарисованную рожицу. За стеклом киоска стали видны небогатые товары, разложенные на полках,— белье и чулки, одеколон и женские сумки с болтающимися ярлыками. А еще в витрине красовались дежурные сувениры: куколки, значки, позолоченные медальки.

— Ты же еще молодой, Костя. Ты такого добьешься, что всех медалей не хватит.

— Да бог с ними,— сказал учитель.

— Правильно. Бог с ними. Но каждому хочется, чтоб его работу ценили и уважали. Посмотри, в кого ты превратился. Ты даже не преподаватель физкультуры, ты мальчик на побегушках. Отчего-то другие учителя не собирают железный лом и макулатуру, не сгоняют ребятишек на линейку. Не убивают все выходные дни из-за школьных экскурсий... Тыща нагрузок, а ты везешь, везешь.

— Мне нравится.

— Нет, ты просто смирился. А втайне понимаешь, что твоя работа — второго сорта.

— Чепуха.

— Она и есть второго сорта. Вырастишь какое-нибудь юное дарование — и то заберут в городскую команду.

— Я не выращиваю дарований,— сказал учитель.— Я выращиваю обыкновенных мальчишек и девчонок. Раньше я об этом как-то не думал, а теперь стал думать.

— Наивно, Костя. Очень наивное утешение. Никто к твоей работе всерьез не относится. А на прежнем месте тебя ценили. И квартиру давно бы уже получил...

Наверно, жене было нелегко произнести эти слова. Она отвернулась и все чертила пальцем по стеклу.

Учитель достал сигареты, закурил. Сырой табачный дым был кисловатым, с неприятным запахом. Что ж, все правильно — жена может и упрекать и обижаться. Второй год они живут порознь, и надежда на получение квартиры очень слабенькая.

— Так что? — спросил он.— Я пойду?

— Иди.

— Ты только не обижайся.

— Иди, иди.

Взблескивал мокрый снег. Автомобили шли с зажженными фарами, в клубах разноцветного пара. Да, опять зима надвигается. Опять зима.

6

Сережка ввалился домой к Павлику, позабыв снять шапку и куртку.

— Вот не везет Верке!.. Это ж нарочно не выдумать!

Рассказывал путано, сбиваясь от горячности, прихлопывая пятерней о колено. Павлик слушал и похмыкивал неопределенно.

— Остынь,— сказал он.— Что особенного? Ну, грохнулась об коня. Руки-ноги целые?

— Снаружи — все вроде целое...

— Из-за чего ж паника?

— Ты балбес! Ей выступать завтра!

— Сереженька, перед кем выступать-то? Перед мировой общественностью? Ну, прыгнет наша Верочка, не прыгнет — какая разница?

Сережка раздул ноздри и медленно встал.

— Я считал тебя умнее... Верка теперь боится. Ни черта раньше не боялась, а теперь дрожжи во всю продает. Тебе это без разницы?!

— Обожди-ка... Полагаешь, у нее заскок? Психологический срыв?

— У нее беда.

— А ты пробовал как-то повлиять, успокоить?

— Не выходит. Она сейчас неконтактная. «Мотай отсюда,— кричит,— никого видеть не желаю!» А у самой глаза опухшие. Ревет.

Павлик представил себе это зрелище. Оно было противоестественным. Тогда он спросил:

— А как же воздействовать?

— Если б я знал, к тебе не пришел бы!

— Ситуация...— сказал Павлик.— Ну, давай мыслить здраво. Уникальный это случай? Вряд ли... Все вы, спортсмены, время от времени обо что-то грохаетесь. У всех бывают истерики.

— У меня не было.

— Ну, ты железный. А обыкновенные люди срываются. И каким-то образом опять входят в норму. Надо, Сереженька, взять и посоветоваться с опытным спортсменом. С каким-нибудь чемпионом.

— С олимпийским? — уточнил Сережка, накаляясь от злости.

— Думаю, лучше взять олимпийского,— сказал

Павлик.— Всех мелких Вера погонит в шею, как погнала тебя... Нужен авторитет. Пускай чемпион вспомнит, как продавал дрожжи и как боролся с этим явлением.

— Где ты его выкопаешь?! — заорал Сережка.

— Чемпиона? Ну, это раз плюнуть. Эпоха глобальной связи, Сереженька... Я снимаю телефонную трубку, звоню десяти знакомым. Каждый из них звонит своим десяти. Те звонят дальше. Вскоре на телефонах повиснет миллион граждан, и нам еще придется отсеивать лишних чемпионов...

— Держи карман! Так все просто!

— Все очень просто,— сказал Павлик.— Техника способна творить чудеса. Остается только убедить граждан, чтоб постарались. Граждане обычно ленятся, вот в чем загвоздка...

7

Туфли промокли. Куртка насквозь пропиталась водой. Но Вера, трясясь от озноба, кружила и кружила по улицам. Домой идти нельзя — там, конечно же, надрывается телефон, а в двери лезут друзья с ворохами расспросов и утешений. Нет, лучше околеть под забором, чем все это переносить.

Сеялся снег. Затягивал и не мог затянуть грязные следы на асфальте. Весной этот снег показался бы теплым — ложится и тает, всего ноль градусов, оттепель. А сейчас он вызывает простудную дрожь. И ноль градусов — это похолодание, это заморозки. Такая вот диалектика...

Мысли возникали куцые и унылые. Впрочем, откуда взяться веселым? Радостей при таком существовании немного... Господи, еще год назад она жила припеваючи! Никаких тебе сложностей, никаких сомнений, белое — это белое, черное — это черное. Пульс в норме, жалоб нет, самочувствие отличное. А теперь жизнь взбаламутилась, как осенняя лужа. Началось вступление в прекрасную пору юности...

Вера шаталась по улицам, пока совсем не окоченела. Ощущения были — как у безголовой мороженой курицы, запакованной в целлофан. Да, опять сваляла глупость. И опять — от страха. Можно бы давно сидеть дома, гонять чай у телевизора. Кого она, собственно, испугалась? Или это входит в привычку — прятаться от людей?

Около дома кто-то залепил ей мокрым снежком по шапке. Вера мгновенно подумала, что сейчас отведет душу. Кем бы шутник ни оказался, он закается ее трогать! Схватив дворницкую обглоданную метлу, Вера бросилась по дорожке к кустам.

— Сдаюсь!..— проговорил знакомым голосом кто-то длинный, в кепочке, и поднял руки.

— Константин Семеныч?!. Вы?!.

— Ну, Веселова, у тебя и реакция,— сказал учитель.— Вратарская реакция!

— Я подумала — это мальчишки швыряются...

— Не истребляй их так яростно. Говорят, мужчин теперь надо беречь.

— Я их в небольших количествах истребляю. Так, десяток-другой за день. А вы кого-нибудь ждете, Константин Семеныч?

— Тебя жду,— сказал учитель.

Именно это Вера и заподозрила. Тоже, значит, явился утешать. И долго ее караулил — от холода посинел, губы бесцветные, нос мокрый. Просто жертвует здоровьем ради своей ученицы.

Вообще-то Вера уважала его за прямодушие, за увлеченность работой. Встречаются учителя знающие, опытные, непогрешимые, как таблица умножения. Но слушаешь такого прекрасного педагога и отчетливо понимаешь, что он притворяется. Скучно ему на уроке, тоскливо, и мечтает он о звонке совершенно так же, как его подопечные. А Константин Семенович притворяться не умел. И огорчался, и радовался неподдельно — весь нараспашку. Бывало, прозвенит звонок, и Константин Семенович сморщится от огорчения...

Но сейчас, ощущая к нему и благодарность и жалость, Вера вдруг произнесла фальшивым голосом:

— Вы напрасно мерзли.

— Это почему же?

— Знаю, зачем пришли. Но я выступать завтра не буду. Лучше не уговаривайте.

— Вон как...

— Хватит гимнастики. Запишусь теперь в бальные танцы, хоть какая-то польза будет.

— Ты когда это придумала?

— Неважно. Только выступать не буду, ставьте замену.

Ей нестерпимо хотелось нагрубить ему, чтоб разозлился, обиделся. Чтоб все окончательно испортилось.

— Дурочка я была, что тратила время.

— Вон как.

— Гимнастикой надо заниматься с шести лет. А в тринадцать — просто смешно. В тринадцать теперь становятся чемпионками.

— Ты на меньшее не согласна?

— Не желаю без толку затрачиваться.

— Веселова, тебя какая муха укусила? — спросил он с наивным, искренним удивлением.

— Да бросьте, Константин Семеныч!.. Правду ведь говорю.

— Ахинею ты несешь дикую! Тебе известно, что я об этом думаю. Это ж чудовищно — с малолетства карабкаться на пьедесталы и только об этом мечтать!

— Все карабкаются.

— Чепуха! Глупости! Когда чемпионке тринадцать лет, мне плакать хочется! Мне стыдно!

— Гимнастика от ваших слов не изменится.

— Но с тобой-то мы говорили об этом! Я разъяснял, что такое спорт!

— Дура была. Уши развесила. А больше не желаю. Может, в ваше время кому-то нравилось без толку пыхтеть, а сейчас таких лопухов не найдете.

— Что ты кривляешься, Веселова? Смотреть противно.

— Не смотрите. Я вас сюда не звала.

— Ведь у тебя что-то случилось,— сказал учитель.— Оттого я и пришел. Ты не обязана делиться со мной переживаниями. Не хочешь — не надо. Но скажи об этом честно и прямо, без кривлянья. Самой же противно!

— И ни капельки.

— До свиданья, Веселова.

Долговязый, сгорбленный, двинулся он по грязному снегу, отмеряя громадные шаги. Двойная его тень, ломаясь, прыгала с куста на куст.

А Вера еще постояла у подъезда, глотая холодный воздух и сдерживаясь, чтоб не разреветься.

Светились окна в домах — сотни одинаковых квадратиков,— то яично-желтые, то розовые. Но больше всего было таинственно-голубых — это шаманили в комнатах телевизоры. Наверно, передают футбол или хоккей. А может, показывают сейчас гимнастику, и на бесчисленных экранах тринадцатилетняя чемпионка крутит сумасшедшее сальто на бревне.

Константин Семенович говорил, что малолетки еще не понимают опасности, оттого и щеголяют вот такими трюками. Ему это не нравилось. Он считал, что смелость должна быть осознанной.

Вероятно, он прав. Конечно, прав. Только где ее взять, осознанную-то смелость? Нелегко она добывается. Не всем по плечу.

8

Граждане явно ленились помогать ближнему. Залп телефонных звонков, выпущенных Сережкой и Павликом, цепную реакцию не вызвал. И отсеивать лишних чемпионов не пришлось. Единственное, чего добились,— это договорили со спортивной докторшей.

Докторша, троюродная тетка Лисапеты-второй, была уже в отставке, на пенсии. «Вы ее расспросами не мучайте! — предупредила Лисапета.— Она старенькая!»

Гулко кашляя в телефонную трубку, докторша сообщила, что в ее время спортсмены обладали крепкими нервами и особого лечения не требовалось. Сейчас, правда, в командах есть врачи-психологи, но, как они действуют, докторша не знает. И вообще ей, человеку старой закалки, не очень понятно, зачем надо искусственным путем вселять уверенность в какого-нибудь здоровенного рекордсмена...

— Может, она близка к истине? — сказал Павлик.— Может, вы сами должны взбадриваться? Подумай — не бегать же всякий раз к гипнотизеру, когда надо через коня сигануть?

А Сережка — уже уяснивший, что никто Вере не поможет,— перестал вникать в теоретические рассуждения. Сидел, хмуро уставясь в угол. Затем, не поднимая головы, с трудом проговорил:

— Слушай... ты сходи к ней...

— Я? Почему — я?

— Сходи.

— Но почему — я?

— Тебя она не прогонит.

Никогда прежде они не касались этой запретной темы. Делали вид, что не существует между ними ничего, кроме дружеских отношений. И нелегко было Сережке решиться на такую вот просьбу, пожертвовать самолюбием, смирить гордость.

— Меня, значит, не прогонит? — нахально переспросил Павлик, растравляя Сережкины раны.— Ты убежден?

— Сейчас получишь...

— Каприз номер семнадцать,— сказал Павлик.

— Это у меня каприз?

— У подруги Веры. Ты же слепой, Сереженька... То, о чем ты стесняешься говорить, было простым капризом и давно кончилось!

— То есть?!.

— Давным-давно ей понравился мальчик Димка из третьего подъезда. Тихий такой, мечтательный, застенчивый мальчик. Все это знают, кроме тебя.

— Врешь! — неуверенно произнес Сережка и мучительно, до слез, покраснел.

— Давай лучше в шахматы перекинемся,— сказал Павлик.— Тебе все кажется жутко серьезным. А все это — дым, воображение, каприз номер семнадцать. Наш возраст, Сереженька, и должен быть легкомысленным. Все пройдет, не переживай...

На Сережку неловко было смотреть. Пятнами покрылся бедняга. Странный тип.

— Расставляй фигуры, Сереженька!

— Мне физику долбать надо,— ответил Сережка и пошел, понурясь, из комнаты.

9

До начала соревнований оставалось полчаса. Константин Семенович сидел в учительской, оформляя списки команд.

Влетела в дверь Лисапета-вторая, крутанулась — от ветра зашелестели на столе бумаги.

— Константин Семеныч, а Веселова не пришла! Мне одеваться или ждать? Хуже всего такая неизвестность!

— Если ты запасная, надень форму и будь на месте,— сказал учитель.

— Я же вся на нерве!

— Дыши глубже. Считай слонов. И перестань сюда бегать.

— Вы скажите — заменяем ее?

— Пока не заменяем.

Возле Константина Семеновича сидел гость — тренер из детской спортивной школы. Отменно загорелый, седой, в свитере с закатанными рукавами, он поигрывал японским магнитным браслетом, вертя его на запястье.

— Безобразничает твоя Веселова,— заметил он.— Приучается опаздывать. Кстати, она за лето не растолстела?

— Да нет. Вроде такая же.

— У меня страшно толстеют,— сказал седой.— Отпустишь на какой-нибудь месяц, не проследишь за режимом — нате, раздуло!

— Ай-яй.

— Современные детки! И ведь непонятно, в кого удаются! Всю семью обязательно проверяю — и отца с матерью и деда с бабкой. Родители тощие, дитя в дверь не пролезет.

— Ай-яй.

— Какая-то эпидемия упитанности. Хуже гриппа.

— Неправильно выращиваем,— сказал учитель.— Надо с пеленок подгонять под спортивные габариты. Родилась девчонка помельче, ее — раз, и на голодную диету! В фигурное катание пойдет. Родился младенец покрупней, его — на тройную дозу молока, чтоб получился штангист!

— А что? Может, дойдем и до этого. Спорт диктует свои законы... Между прочим, не будешь возражать, если я заберу Веселову к себе? Составляем гандбольную команду, нужны девчонки с хорошей реакцией.

— Ну, Веселова просто родилась вратарем...

— Ты, дружище, сегодня что-то наэлектризованный. Все язвишь. Но не препятствуй, ладно? Уважаю твои мысли, твои взгляды, но что делать? Современный спорт — штука серьезная и от нас почти не зависящая...

— Все от нас зависит. И спорт, и ребячье нормальное детство.

— Ой, дружище, не будем спорить. И, пожалуйста, не отговаривай свою Веселову, я очень прошу. Тем более, что она вышла из детского возраста.

В комнату опять внесло Лисапету-вторую:

— Так что, Константин Семеныч? Заменяем ее?

— Нет,— сказал учитель.

— Она же не придет!

— Ступай на место и жди.

Седой тренер поглядывал на учителя, щурился проницательно:

— Привыкла нарушать дисциплинку?

— Нет.

— Ты что-то темнишь, дружище. Скрываешь.

— Ничего я не собираюсь скрывать.

— Да я вижу. Отчего боишься ее заменить? Допустила нарушение — заменяй, не потворствуй. Какая-то странная вокруг нее суматоха.

— Просто хочу, чтоб она выступила,— ответил учитель.

— Зачем? В гимнастике поздно делать ставку на твою Веселову.

— Не поздно! — сказал учитель с мальчишеским упрямством.— Еще ничего не поздно!

В дверь тихонечко поскреблись. Одним глазом Вера заглядывала в щелку.

— Я тут, Константин Семеныч... Идти одеваться?

— Иди,— разрешил учитель.

Седой тренер раздраженно пощелкал по своему браслету:

— Напрасно их портишь. Если так воспитывать — мы с ними наплачемся. Характер уже сейчас закладывается, и надо помнить об этом. Чувствую, что мы крепко с тобой поругаемся, дружище.

IV. Большая очередь

1

На машиностроительном заводе кончилась смена. Вместе с толпой народа вышли из проходной несколько молодых парней. Они держались кучно, плотной стайкой, будто одно дружное семейство.

Это была знаменитая молодежная бригада Алексея Петухова.

Ее всегда привыкли видеть в полном составе — даже после работы.

Но в этот день Алексей Петухов сразу откололся от друзей. Отшвырнул недокуренную сигарету, поправил кепочку:

— Ребята, я понесся! Спешу очень.

— На свиданку, что ли?

— Да нет. В общем... ну, в общем, надо! Позарез надо!

— Ты чего это скрытничаешь? — спросил кто-то.— Глаза в сторону, мямлит, мнется. Что с тобой?

Другой приятель усмехнулся:

— Он вообще сегодня неуправляемый. Либо в спортлото выиграл, либо кран на кухне не закрыл.

— Ты чего темнишь, Леха?

— Потом, потом все расскажу! — пообещал Петухов, нервничая. Глаза у него действительно юркали по сторонам.— Просто одно мелкое событие... Разные текущие дела.

Придерживая свою вязаную кепочку, Петухов побежал через площадь, лавируя среди толпы и козлиному перескакивая лужи.

— Что-то неладное с Лешкой,— проговорил тот приятель, что был постарше всех.

— Может, дома неприятности?

— Я уж интересовался — молчит. Полная засекреченность. Но что-то с ним серьезное, он даже работать стал хуже... Сегодня затачивает резак и не видит, что кожух открыт. Точило — вдребезги, осколки летят, как от гранаты. Вполне покалечить могло.

— Да ну, это как раз случайность. Бывает, и колбаса стреляет.

— Или я не разберусь? — сказал старший.— Если б случайность, он бы хоть испугался. А то стоит и моргает: не понял, что произошло. Нет, ребята, с ним что-то неладное...

А Петухов в эту минуту догнал у остановки автобус, ввинтился в смыкающиеся дверцы. Ему прищемило ногу, она осталась торчать снаружи, и автобус с этой нелепо дрыгающей ногой исчез в уличной коловерти.

2

Неподалеку от дома, где живут Вера, Сережка и Павлик, есть большой книжный магазин. Его построили недавно, по современному образцу: сплошное стекло и крыша козырьком.

Прямо с улицы видно, что происходит внутри магазина. Если там очередь, если выброшено что-то дефицитное,— беги и пристраивайся. Очень удобно.

Но сейчас в магазине было пустовато; лишь кое-где маячили отдельные покупатели, не спешившие тратить деньги. А в поэтическом отделе находился вообще один-единственный человек — интеллигентный старичок Николай Николаевич.

Он сложил аккуратную стопку книжек и подвинул их продавщице:

— Вот, Валечка, отобрал. На два с полтиной. Проверьте.

— Что вы, Николай Николаич,— сказала продавщица.— Платите прямо в кассу.

— Спасибо за доверие.

— Была бы я директором магазина, я бы премию вам начисляла. Как совершенно уникальному покупателю.

Николай Николаевич мигнул подслеповато, улыбнулся.

— Ах, Валечка, я понимаю, что выгляжу... х-гм... чудаком. Нормальные люди не приобретают все сборники подряд.

— Конечно, немножко странно. Есть же библиотеки, можно бесплатно читать.

Николай Николаевич оперся локтем на прилавок, пожевал губами. Его лысину прикрывал трогательный круглый беретик с суконным хвостиком.

— Можно, Валечка, можно... Но я, понимаете ли, не просто читаю. Я коллекционирую поэтические сборники.

— Такое у вас хобби?

— Назовем это... гм-гм... хобби.

— Чего только люди не коллекционируют!

— Если вам интересно, Валечка, я расскажу про одного чудака-коллекционера. Вот представьте: гражданская война, голод, разруха. Беспризорники. Мешочники на вокзалах... И в это время человек коллекционирует книги. На последние деньги покупает стишки! Конечно, многие считают его сумасшедшим. Г-хм... В том числе и я. Стыдно признаться, но даже я смеялся над ним... А потом прошли годы, жизнь наладилась. Открывались музеи, университеты, библиотеки. И тут обнаружилось, что коллекция нашего чудака нужна! Он собрал издания, которых больше нигде нет! Его причисляли к сумасшедшим, а он совершил подвиг: спас частицу нашей культуры. И его коллекция теперь не имела цены! Была дороже всякого золота!..

— И вы собираете такую же? — спросила продавщица.

— Увы. Такую собрать уже нельзя. Пройдут десятки лет, Валечка, пока эти книжки станут редкостью...

— Но вы все-таки покупаете,— сказала она.— Наверно, и не питаетесь как следует. И вообще себя ограничиваете.

Николай Николаевич улыбнулся простодушно.

— А я люблю поэзию,— сказал он.— Я, как ни странно, получаю от нее большое удовольствие...

Шаркая стариковскими ботами, Николай Николаевич отправился платить деньги. А продавщица сидела задумавшись.

Она была очень юная, очень хорошенькая и очень грустная.

Всем людям — и с улицы и внутри магазина — было видно, что продавщица скучает за своим прилавком. Она томилась, как царевна в опостылевшей светелке.

Продавщица взяла наугад какой-то сборничек, полистала. Не удержалась от гримасы.

А когда Николай Николаевич вернулся с чеком, то пожаловалась:

— Ей-богу, Николай Николаич, не понимаю... При вас я какой-то обделенной себя чувствую!

— Давно подозреваю, Валечка, что эта работа вам не по душе.

— Да нет же! Я согласна отработать свой срок, и даже с энтузиазмом! Но чем приходится торговать?! Какого сорта продукцией?! Ну, вот это, например, ну, что это такое.— Она прочла вслух несколько строчек.— И за эту чепуху я должна брать с людей деньги! Не понимаю, хоть убейте... Или я какая-то недоразвитая, или половина этого товара — чудовищный брак, и я обязана защищать от него покупателей!

Николай Николаевич взял у нее книжку, перевернул мизинцем страницу.

— Г-хм... Да, стихи не чеканные... Но рядом, Валечка, есть недурные строки. А иногда попадается просто хорошая. Почему не обрадоваться даже одной хорошей строке?

— Нет уж, спасибо! Я продам бракованную рубаху, скроенную шиворот-навыворот, и скажу: в ней есть отдельные хорошие ниточки! Вы обрадуетесь?

Валечка в гневе заломила подрисованную бровь, смотрела негодующе. Николай Николаевич деликатно сказал:

— Есть разница, Валечка, между поэзией и... изделиями легкой промышленности.

— Везде требуется качество! Прежде всего качество!

— Разумеется, Валечка. Но стихи... как бы это выразиться... они живые. Их надо воспринимать, как нечто одушевленное. Вот вы встретили ребенка, у него удивительные синие глаза. Кажется, мелкая деталь, правда? Но это же прекрасно...

Николай Николаевич улыбнулся продавщице, забрал свои покупки и зашаркал к выходу, останавливаясь почти у каждого прилавка.

Продавщица не сразу очнулась от задумчивости, когда к прилавку подбежал — щеки бледные от волнения, челочка набекрень — Алексей Петухов.

— Девушка!.. Поступила к вам книга под названием «Ступеньки»?

— Нет.

— Стихи! Такой сборничек! «Сту-лень-ки»!

— Я же вам говорю, что никаких «Ступенек» нет.

— А мне позвонили, что уже поступила в продажу! Вы проверьте, девушка!

Петухов алчущим взглядом ощупывал прилавок; названия путались, буквы двоились и прыгали у него в глазах.

— Да вот же она! — Рука Петухова дернулась и схватила маленькую, в неброском переплете книжицу.

— Ах, эта,— сказала продавщица.— Простите, я не расслышала название. Да, сегодня получили. Будете брать?

— Беру! Выписывайте!

— Восемь копеек, прямо в кассу.

— Но мне требуется много экземпляров!

— Сколько же?

— Все, сколько есть в магазине! — выпалил Петухов.

— То есть как это «все»?!

— Я хочу купить все до единой! Всю партию, которую завезли!

— Подождите, гражданин! А если у нас пятьсот штук? Тысяча? Я не знаю, сколько их привезли!

— Пускай будет тысяча! Беру! Выписывайте чек!..

Продавщица была ошарашена. Впервые в ее практике встретился человек, делающий такие закупки.

— Простите... вы от какой-нибудь организации? Берете по безналичному расчету?

— Нет,— сказал Петухов.— За наличные! Плачу сразу!

— Не знаю, разрешается ли отпускать столько книг в одни руки. Я должна навести справки.

— Девушка, да какая вам разница?! — взмолился Петухов.— Это же не дефицитный товар! Не автомобиль «Жигули»! Очередь тут не выстроится, можете мне поверить!

— Я все-таки должна навести справки. Подождите немного. Скоро придет заведующая, она даст указание.

— А без заведующей нельзя?

— Потерпите несколько минут, гражданин. Ведь книжку-то не раскупят, правда же?

Петухов отступил от прилавка, поискал глазами какое-нибудь укромное место. Ему не хотелось торчать у всех на виду. Он зашел за бетонную колонну, привалился к ней плечом. Невидяще уставился на портреты классиков, украшавшие стену.

Лев Толстой с бородою до пояса, юный Лермонтов, мечтательный Пушкин свысока смотрели на Петухова. Казалось, они сдерживают усмешечку, все понимая.

Петухов дернул плечом и отвернулся от классиков.

А в этот момент к поэтическому отделу подошли две старшеклассницы. У обеих колотились по длинным ногам портфели, у обеих сверкали модные очки, похожие на автомобильные фары.

— Вознесенский на пластинке есть?

— Кончился,— сказала продавщица.

— А Евтушенко?

— Кончился.

Школьницы одинаковым жестом поправили очки.

— А что же у вас есть-то?!

— Петухов сегодня поступил,— сказала продавщица.— Сборник «Ступеньки», восемь копеек. Не желаете?

Петухов, стоя за колонной, услышал эти слова. И увидел, как продавщица взяла с прилавка маленькую книжечку.

Старшеклассницы склонились, разглядывая обложку.

— Ты о нем что-нибудь слышала, Машка? Наверняка производственная тематика.

— Кажется, у него что-то было в журнале «Юность»...— Мучительные морщинки возникли на конопатом лице подружки.— Или в этом, как его... Помнишь?

— В этом был Пастухов! — сказала черненькая подружка.— Пастухов! И не со стихами, а с детективом. И с трубкой в зубах.

— Да, правильно...— кивнула конопатенькая.— Но тогда... может, радиостанция «Юность» передавала? Где-то я что-то такое помню...

— Машка, ты меня изумляешь! — сказала черненькая.— Тебя пригласили на день рождения в культурную семью! А ты принесешь Петухова! За восемь копеек!

Книжечка шмякнулась обратно на прилавок. А стоявший за колонной Алексей Петухов, жалко улыбаясь, отвел глаза в сторону.

3

Сережка, Вера и Павлик шли мимо книжного магазина. Павлик, что-то заметив, прильнул к витринному стеклу.

— Ребята, кажется, мы прозевали историческое событие! У прилавка дежурит Петухов. Наверно, вышла его книжка!

— А зачем он дежурит? — спросил далекий от поэзии Сережка.

— Наблюдает за покупателями! Все авторы бегают смотреть, как продается их сочинение!

— Прославится теперь,— сказала Вера.— Нос задерет. Давайте зайдем, поздравим его. И купим по книжечке.

— Не надо,— остановил Павлик.— Мы не те покупатели, которых он ждет.

— А других-то я не замечаю.— Вера тоже наклонилась к витрине.

— Да, желающих маловато.

— Поэзия затоварилась,— сказал Сережка.— Нет спроса. Зато самих поэтов развелось — тьма-тьмущая.

— Что это за выражение?! — возмутился Павлик.— Поэты не разводятся. Их рождает время.

— Во-во,— подтвердил Сережка.— Их не сеют, не выращивают. Они сами произрастают.

— Без намеков! — сказал Павлик.

Вера посмеялась, спросила:

— Как думаете — у нашего Петухова настоящий талант?

— Талант — категория неопределенная,— произнес Сережка.

— Почему это? — возразил Павлик.— Определить очень просто. Талант — это подаренные природой дополнительные возможности. Одного человека бог наделяет лопатой. Другого — землечерпалкой. Третьего — шагающим экскаватором. Я привожу близкий тебе пример. Чтоб ты понял.

— А чем бог наградил Петухова? — спросила Вера.

— Затмением в голове,— сказал Сережка.— Имеет такую профессию, такие руки и тратит время на ерунду. Вкалывал бы как следует — тогда про него бы стишки сочиняли. Я предпочитаю не воспевать, а быть воспетым.

— Всех сразил наповал! — съязвил Павлик.— А не боишься, что будет отражен твой мыслительный уровень?

— Хватит вам! — приказала Вера.— Надоели.

Напротив книжного магазина был подземный переход. В его тоннеле, освещенном неоновыми трубками, шла бойкая торговля. Пожалуй, более успешная, чем в магазине. Тут громыхали мокрыми ведрами цветочницы, вертелся лотерейный барабан. Дяденька с тугими щеками продавал пирожки, испускавшие последний пар. Подошел к лотку Николай Николаевич, держа под мышкою связку книг. Приобрел за десять копеек пирожок, стал его есть. А чтобы этот процесс не отнимал зря времени, Николай Николаевич раскрыл один из купленных сборников и углубился в чтение.

Николаю Николаевичу совсем не мешала толчея. Он не замечал прохожих, не слышал криков еще одного продавца.

А этот продавец — парень в лоснистом, как голенище, кожаном пиджаке — орал на весь подземный переход: «...Соблюдайте современную диету!! Вот книга, пока единственная!!. Научно обоснованный режим питания, последние экземпляры!..»

Полезная книга шла нарасхват.

— Петуховские стихи так не рекламируют...— задумчиво сказала Вера.

— Ну и что? — спросил Сережка.— Население без его стихов как-нибудь проживет. А без правильного питания можно коньки отбросить.

— Нет, все-таки несправедливо,— сказала Вера.

— Что предлагаешь? Перевернуть эти лотки?

— Мы сделаем иначе,— сказала Вера.

4

Заведующая где-то задерживалась, и Алексей Петухов изнывал, прячась за колонной. Торчать здесь было так же приятно, как у позорного столба.

Но неожиданно в магазине стало шумно и суетно. В отделе поэзии вытянулась очередь. Невесть откуда принесло толпу девчонок; они осадили прилавок, выхватывая друг у друга сборник «Ступеньки». Вслед за девчонками явились какие-то дворовые футболисты с потертым мячом, паренек в драной кепке, надетой задом наперед. И все требовали «Ступеньки».

Очередь привлекала внимание. Действовала магнетически. К ней потянулись люди из соседних отделов, а затем и уличные прохожие. Начинался странный ажиотаж.

Петухов готов был поверить, что ему мерещится. Что все это — наваждение, мистика... И вдруг сквозь витринное стекло он увидел Веру. Она с торжествующей ухмылкой появилась на миг и исчезла, как чертик в шкатулке.

Застонав, Петухов ринулся к дверям, но оттуда напирала новая толпа. Мимо пронеслись две старшеклассницы, блистая очками; черненькая кричала:

— Машка, становись скорей, кулема!..

— А кого?! Кого выбросили?!

— Занимай в кассу!..

Петухов кое-как пробился к прилавку, крикнул продавщице:

— Что ж вы делаете? Я же просил!!.

— А что я могу сделать?! — взвизгнула растрепанная продавщица.

— Не продавайте им, девушка!..

— Не имею права!! Я обязана продавать!

— Вставайте в очередь!..— кричали на Петухова со всех сторон.— Граждане, не пропускайте его! Куда он лезет?!

Будто ошпаренный, выбрался Петухов из очереди, очутился на улице. Глаза у него щипало, рот — наискось, как от зубной боли.

Через несколько минут он разыскал Веру, цапнул за руку:

— Вы это зачем?!. Вы зачем это устроили?!

— А что такое? — удивилась она.

— Не придуривайся!!

— Да в чем дело, Алеша?

— Никогда тебе не прощу!!.— зашипел Петухов.— Подлость какая! Дурацкая гнусность!

Он отпихнул Веру и пошел прочь от нее, прихрамывая, ступая по грязным лужам.

Вера кинулась вдогонку:

— Алеша!.. Постой, Алеша!

Он шлепал по грязи, отпихивался судорожно.

— Да что в самом деле произошло?! Алеша!.. Что мы тебе сделали?!

— Я вообще не хотел, чтоб ее продавали! — крикнул Петухов.

— Как?!.

— Сам ее забрал бы!

— Зачем?!

— Это — мое дело!!

— Но, Алеша... Ведь можно купить в другом магазине!..

— Что ты понимаешь! — горестно сказал Петухов.— Кто вас просил вмешиваться? Мало позора, так добавили...

Он шел, как больной, как ослепший, натыкался на встречных. Вера не отставала. Она вдруг испугалась за Петухова.

Вышли на бульвар. Петухов сел на мокрую скамейку. Сгорбился. В пустой аллее свистел ветер, морщились лужи. Рядом, за деревьями, проносились машины, стреляя брызгами.

— Книжка-то моя — дрянь,— произнес Петухов.

— Да ты что, Алеша?!.

— Дрянь. Поторопился с ней, дурак. Все испортил.

— Ты ведь так ее ждал!

— Всегда торопимся чего-то добиться,— сказал Петухов.— Мечтаем: скорей бы, скорей! А сами еще не готовы, не доросли. Вот дай тебе в руки настоящий самолет — что получится? Гробанешься, и больше ничего.

— Но у тебя же... совсем другое...

— У меня еще страшней. Еще опасней. Ведь я книгу выпускаю. Ты понимаешь — книгу! Тыщи людей ее в руки возьмут. Я состарюсь, помру, а она может уцелеть. Это же книга! Ее на полку поставят рядом с Пушкиным, с Лермонтовым!

— Ну, они же классики были. Зачем сравнивать?

— Они — люди были. А рядом вдруг окажется шустрый такой прохиндей... Я ведь что делал-то? Сочиню стишок и подписываюсь: «А. Петухов, бригадир-наладчик».

— Но ты же вправду наладчик.

— А классики так подписывались?! Вообрази на минуту, что Пушкин под «Русланом и Людмилой» подписался: «титулярный советник»! Или вон Лермонтов подписался бы: «поручик»! Можно это представить?! А я вот подписывался, чтоб легче напечататься было. Я, дескать, не просто поэт, я совмещаю поэзию с ударным трудом на производстве!

— Алеша, погоди... я не пойму... Но ты ведь на самом деле совмещаешь!

— Верочка, милая, сочинять стихи — это не дополнительная нагрузка! Знаешь, что это? Из себя человека делать! Жить честно, по совести, никаких скидок себе не давать! Вот что это! Не бывает честности по совместительству! Не бывают мужество и долг дополнительной нагрузкой!

За деревьями проносились машины, с гулом рвали дождевую пленку на асфальте. Зажглись фонари. Над бульваром, над домами, над всем огромным городом затрепетало электрическое зарево.

Вера смотрела на Петухова.

— Алеша, но если все так... почему ты на нас обиделся?

— А зачем вы сунулись? Кто просил?

— Книжка-то продается везде. Во многих магазинах.

— Я думал: хоть здесь ее скуплю. Тут друзья, знакомые ходят...— тоскливо сказал Петухов.— Все-таки поменьше бы разговоров.

— Это выход?

— Глупо, сам понимаю... Но что я теперь могу?

— А как же твои правила? — спросила Вера.— Все делать по-честному, скидки себе не давать?

— Язва ты, Верка. Инфекция ты.

— Мужество — это добавочная нагрузка или нет?

— Не цепляйся! Шла бы ты домой, Пенелопа.

— Я хочу разобраться,— настаивала Вера.— Почему взрослые, умные люди не выполняют своих же правил?

— Спроси что-нибудь попроще.

— Нет,— сказала Вера.— Мне это важно. Вот делаю я какие-нибудь глупости и покамест могу оправдать их своим переходным возрастом. Легкомыслием. Ветром в голове. А дальше-то как?

— Придется не делать глупостей,— решил Петухов.— Единственный выход. Попробуй, может, получится.

5

Кутерьма в магазине улеглась, очередь растаяла. Встрепанная и рассерженная продавщица убирала прилавок, пострадавший от натиска покупателей.

И даже на Николая Николаевича, вернувшегося в магазин, она взглянула с раздражением. А Николай Николаевич стеснительно проговорил:

— Валечка, простите, пожалуйста... Но я хотел бы приобрести второй экземпляр «Ступенек». Вот этого сборничка.

— Господи, вы тоже!..

— Да понимаете, раскрыл по дороге... стал читать...

— И обнаружили необыкновенный талант?

— В моем возрасте, Валечка, уже не судят столь категорично... Просто в этой книжечке, среди очень неровных и, г-хм... даже слабеньких стихов... есть очень искренние. Читаешь — и задевает за сердце.

— Я на этой работе сойду с ума,— сказала продавщица.

— Полноте, полноте. Что вы!

— Уже ничего не понимаю, что происходит!

— А что, собственно, случилось?

— Только вы ушли, примчался какой-то парень и потребовал тысячу экземпляров этих «Ступенек»! А потом хлынул народ, вдруг безумная очередь столпилась, чуть не дерутся! Все здесь разгромили и исчезли. Как это объяснить?

— Странно,— помаргивая, сказал Николай Николаевич.

— Более чем странно! Мне кажется, эта очередь была нарочно сорганизована!

— Да с какой же стати? Кем?

— Автором, конечно! Кому же еще понадобится?

— Предполагаю, Валечка, что вы ошибаетесь. Человек, пишущий такие стихи, не способен сорганизовать очередь.

— А вот они!.. Вот они опять лезут! — воскликнула продавщица, приподнимаясь на носки.

От дверей прямо к отделу поэзии валила толпа мальчишек и девчонок.

В проулке, за углом магазина, Сережка и Павлик наседали на отставших от толпы:

— Зинуля! Давай, давай!.. А ты чего, Лисапета?! Давай по-шустрому!

— Теперь уже надо покупать,— отбивалась Лисапета.— Опять придем, понюхаем и уйдем?! Нас продавщица запомнила!

— Ну и покупай! Подумаешь — восемь копеек! Люди из-за стихов гибли, жизнь отдавали, а ты восемь копеек жмешь, копилка ты глиняная!

Сопротивлявшиеся были сломлены, затолканы в магазин. Сережка утер лицо:

— Еще бы надо!.. И не мелочь пузатую, а постарше бы, повзрослей! Я, пожалуй, сейчас в соседнем дворе облаву произведу...

— Силой пригонишь? — измученно спросил Павлик.

— И пригоню! Если уж взялись, надо не подкачать! Пускай на улице очередь стоит!..

Они обернулись на гвалт в магазинных дверях. Там пятилась, отступала ребячья толпа: Вера, раскинув руки, вылихивала всех на улицу.

— Кажется, мы двигаем их взад-вперед,— сказал Павлик.— А для чего? Где смысл?

— Не знаю. Наверно, эта мелочь не годится. Нужны лбы.

— Знаешь, я умываю руки.

Вера что-то втолковывала мальчишкам и девчонкам, толпа постепенно таяла, все поворачивали к дому.

— Играем отбой? — спросил Павлик у Веры.

— Отбой.

— Все раскуплено?

— Нет.

— Зачем же тогда отбой? — не понял Сережка.— Продолжим. Сейчас пригоню лбов. Стеной встанут за Петухова.

— Помолчи.

— Разонравился петуховский талант? — сказал Павлик.

— И ты помолчи. Умник.

— Да что ты зафокусничала?!

— Талант — это лопата? Землечерпалка? — спросила Вера.— Между прочим, как ты свои стишки подписываешь? «Павел Исаев, ученик 7-го класса»?

— Естественно,— сказал Павлик.— Ну и что?

— Вот подпишись еще разок. Я не знаю, что с тобой сделаю.

Феликс Чуев

✪

Резво, величаво, быстроного
белый дождь процокал на рысях.
В ту страну особая дорога,
верный пропуск —
память о друзьях.

В ту страну летят автомобили
сквозь дождей серебряную пыль.
Там меня все девушки любили,
кроме той, которую любил.

Может, чья-то встречная улыбка
озарит, как вспышка, небосвод
и меж туч, как золотая рыбка,
над бессмертьем юности блеснет.

✪

Какими мы были красивыми
в том памятном давнем году,
когда под холодными ивами
придумали эту звезду.

Она, меж ветвей проплывая,
мерцала, как луч на крыле,
как в стужу окошко трамвая
в метельной завьюженной мгле.

Сквозь графику зимних деревьев
и веток прозрачную вязь
она, излучая доверье,
легко проплывала, искрясь,

над нами, над нашей землею,
высвечивая небосвод,
над нашей любовью живою.
она и поныне плывет.

✪

Мне приснился пароходик —
не такой, как в снах:
в черном озере восходит,
белый, на волнах.

В небе ласковом, молочном,
облака, как лед.
В черном озере полночном
рыбица плывет.

Мы — два путника вчерашних.
Ты в ночи светла.
И косуля к нам бесстрашно
из лесу пришла.

Там из озера с косулей
мы попьем втроем,
и оно нас нарисует
на холсте своем.

✪

Облако в луже плывет, серебрится...
Тысячу раз в остальные года,
может быть, все это и повторится,
только меня уж не будет тогда.

Бревна лежат, отдыхая в истоме
златоиюльского мягкого дня.

Улица тоже останется, кроме,
кроме того, что не будет меня.

Что повторяемо — неповторимо.
Радуйтесь каждой минуте своей,
будням и горю,
табачному дыму
над полукругом надежных друзей!

Радуйтесь жизни —
в квартире, на улице,
лесом ли, росной травой проходя,—

этот цветок никогда не распустится,
больше не будет такого дождя!

✪

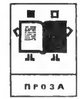
Колодец у запертой чайной.
Канава. Забор. Ни огня.
Она прислонилась случайно
И поцеловала меня.

Потом упорхнула, как птица,
и так засмеялась навек,
что ныне в росе серебрится
тот первый, тот памятный смех.

Надежда
КОЖЕВНИКОВА

МУЖ, ЖЕНА И АВТОМОБИЛЬ

РАССКАЗ



Рисунки
А. ЧЕРНОВА.

Договорились, что он заедет за ней на работу. Оба заканчивали в шесть, но он — на колесах и через десять минут, сказал, у нее будет. «Колеса» эти, правда, были очень ненадежные: старенький «Москвич» 407-й модели, подаренный на свадьбу ее родителями уже сильно подержанным. Успели сына родить, четырехлетие ему справить, а «Москвич» все еще бегал, покашливая и кряхтя.

Муж берег «Москвича», дряхлости его сочувствовал, а жена презирала и не упускала случая эту «разбитую телегу» ругнуть. Когда муж садился за руль, жена обидно высмеивала их обоих, и водителя и автомобиль, двух растяп, неудачников, у которых все всегда вкривь и вкось, на которых, конечно же, нельзя ни в чем положиться.

Когда глох мотор или не срабатывало зажигание, у жены кривилось лицо, она шептала как бы про себя, но так, что мужу, разумеется, было слышно, о разбитой вчера «одним нескладехой» хрустальной пепельнице, о том, что в комнате отстали обои и пора бы, конечно, сделать ремонт, но это — естественно — лишь голубая мечта, денег у них на такое мероприятие в данный момент не наберется, а вот Скворцовы зато обменяли квартиру и переехали в новый дом, где холл, как в зарубежных кинофильмах, а ванна — да, да, отдельная, а не совмещенный санузел! — облицована вся — подумать! — черным кафелем.

«Москвич», прокашлявшись как следует, трогался наконец; муж глядел прямо, в ветровое стекло; жена, порывшись в сумочке, доставала пудреницу, подкрашивала губы, молча, с трагическим выражением лица.

Она, вообще-то говоря, была еще молоденькая, хорошенькая, тонконогая, и округлое курносое ее личико делалось детски обиженным, когда она ругала мужа и злилась.

А муж был немногим ее старше: высокий, белобрысый, с хрящеватым длинным носом, сближенным с пухлой верхней губой, молчаливый и сдержанный. О нем даже теща говорила: «Золотой парень!»

Муж работал в НИИ, жена преподавала пение в школе и очень часто приходила домой раздраженной, потому что дети не хотели, а она не могла заставить их петь.

Зато дома встречал ее Андрюша, разучивший в детском саду неизвестно уж с чьей помощью невероятные куплеты, от которых родители его смущались, краснели, смотрели в растерянности друг на друга: что делать-то, а? Ну, что делать?..

— А я тебе скажу! — шепотом начинала жена, утянув мужа за собой в кухню и плотно прикрыв дверь.— Я тебе скажу, как это у нормальных людей, к примеру, бывает! Бабушки с внуками сидят. Бабуш-ки! Потому что — пенсионный возраст, пора бы уже перестать честолюбием кипеть, рваться выступать на собраниях! Директором ее, кстати, уже все равно не сделают. Так пусть хоть о родных своих наконец подумает, не о сыне, так о внуке! Пусть наконец...

— Но твоя мама...

— Что, *моя* мама?! Да ей еще Витьку женить надо и Лену замуж выдавать, и отец хворать стал, и сама она плохо себя чувствует. Моя мама!.. Тоже сказал...

— Ну, так и в детском саду есть свои преимущества. Воспитывается в коллективе, и вообще... А куплеты... Он ведь смысла еще не понимает.

— Не понимает? Поймет!

Но тут Андрюше одному становилось скучно, и

он являлся в кухню к родителям, и тогда они все трое дружно садились смотреть телевизор до того часа, пока Андрюшу пора было укладывать спать.

А утром... Об утре всего не скажешь — такая начиналась кутерьма! Но ровно в восемь квартира пустела, а в передней выстраивались у вешалки тапочки: мужские, большие, с размятыми задниками; женские, с помпонами, одним полуоторванным — Андрюшина работа! — и маленькие клетчатые — сына.

Целый день не виделись, жили каждый своей жизнью: муж — в научно-исследовательском институте, жена — в школе, Андрюша — в детсаду.

...В этот раз Андрюшу согласилась забрать из детсада домой соседка — есть же на свете добрые люди! И, между прочим, не родственники... А муж обещал заехать за женой на работу в десять минут седьмого. Им предстояло длительное мотание — выбирать подарок другу на день рождения, а это в конце рабочего дня, да еще в пятницу — ох, нелегко.

Удивительно, но муж явился вовремя. Заляпанный весенней грязью, неказистый, с проржавелыми крыльями «Москвич» стоял, степенно выжидая у ворот школы, когда жена, застегивая на ходу пальто, сбежала по ступенькам, и муж, взглянув на нее через боковое стекло, подумал, какие у нее и вправду стройные тонкие ноги, и вообще какая она...

— Ну! — произнесла жена, не успев еще продышаться.— Куда поедем?

Муж молчал, зная, что на этот вопрос она сама ответит.

— На Ленинский. В «Москву», в «Лейпциг».

Муж включил зажигание, и поехали.

— Смотри,— сказала жена, приоткрыв окно и оглядывая длинную серебристо-мерцающую машину с зеленоватыми стеклами,— московский номер, и сколько их сейчас развелось! Это что, здесь покупают или оттуда привозят?

— Когда как,— небрежно-рассеянно ответил муж.— Но, знаешь, с ними мороки! Запчастей потом не достать.

— Ну, конечно! Ты всегда найдешь, чем утешиться. Зато с этой колымагой у тебя хлопот нет...

— А что? — невозмутимо произнес муж.— Ходит вполне прилично и прочная — сколько ведь лет!

— Вот именно!

Они помолчали. Муж смотрел вперед, жена вбок. У нее волосы были подняты вверх, открывая затылок с глубокой ложбинкой: муж это не видел сейчас, но знал.

— Давай,— вдруг сказала жена,— заедем в «Антикварный».

Он не стал возражать, хотя делать им там, считал, было нечего.

Вошли. И она сразу куда-то от него пропала. Он не глядел, что выставлено в витринах, искал ее. А когда нашел, увидел узкие, сгорбленные под светлым пальто плечи — обрадовался. Она нагнулась над прилавком, рассматривая что-то яркое на желтоватом в трещинках фоне — цветы, ему показалось, аляповатые,— но она глядела восторженно, затаив дыхание.

— Что это? — спросил он.

Она взглянула на него зло, ему даже показалось — с внезапной ненавистью, не ответила ничего, прошла вперед, точно вдруг его застыдившись. А он остался стоять, не решаясь за ней двинуться, видя перед собой это ее такое вдруг чужое, злое лицо...

Она вернулась. Сели в машину и поехали.

У метро продавались цветы. Он хотел сказать: «Давай я куплю тебе?» Но промолчал, проехал мимо.

Вошли в универмаг. И там он снова ее потерял. Купил себе мороженое, ел, поджидая у входа.

Она вернулась опять ни с чем.

— Дальше? — спросил он.

Она кивнула. Так они ездили из магазина в магазин, и он терпеливо ждал, пока она ходила, смотрела, и видел, что лицо ее становится все более замкнутым, недовольным, и теперь они оба молчали.

— Ну, хватит! — сказала она, когда приближалось уже время закрытия магазинов.— Купим вот эти рюмки — и все.— Раскрыла кошелек, вынула деньги, протянула ему: — Иди, плати.

...Они возвращались по опустевшим уже улицам: город рано вставал на работу и рано ложился спать.

— Дурацкий день,—сказала она, по-прежнему глядя вправо.

— Почему дурацкий?

— Непонятно? Тебе и это не понять!..— Она досадливо усмехнулась. Вздохнула: — Господи, как устала!

Внезапно он тоже почувствовал, что очень устал. Ему вообще всегда передавались ее настроения. И хотя он пытался, бывало, развеселить ее, когда она была грустна, но в себе самом при этом никакого веселья не ощущал. А она, казалось, и не понимала, не чувствовала, что все это ради нее. Отмахивалась: «Отстань! Оставь меня в покое»...

А ведь любила! Если бы он не знал точно, что любит, так разве бы...

Нет, любила, но почему-то... «Ну,— он думал,— молодая еще»...

Они были почти у самого дома, когда «Москвич» вдруг остановился, чихнул и заглох окончательно.

Он, отлично понимая, что это теперь бесполезно, выжимал педали, щелкал ключом, страшась взглянуть ей в лицо, страшась увидеть, услышать...

Наконец вылез, раскрыл капот; в темноте и понять было трудно, в чем дело. Вынул инструмент, зачистил клемму — без толку.

Да, наверно, аккумулятор. Решил завести ручкой.

Пальто, и шарф, и шапка ему мешали, когда он, вонзившись, казалось, в самое нутро «Москвича», проворачивал, проворачивал так, что машина вздрагивала, будто от боли. Снял пальто, кинул на заднее сиденье — в кабине были темнота и тишина. Он хотел что-нибудь сказать жене, но раздумал. Схватился за ручку со всей силой, точно собирался вывернуть автомобиль наизнанку.

Да в самом деле — что с ней говорить! Она женщина и будет презирать его, пока он не найдет выход, не починит поломку, не победит. До того толковать с ней нет смысла.

Он проворачивал, проворачивал — и все впустую!

А она сидела в машине и видела перед собой его лицо, серьезное, сердитое, вдруг даже повзрослевшее...

Он был полностью поглощен своим занятием, но странно, что даже, терпя неудачу, не выглядел в этот момент жалким. Упрямство, с которым он трудился, воспринималось со стороны почти как вдохновение, и это вызывало уважительное чувство к нему. То есть она еще не наткнулась в мыслях своих конкретно на эти слова, не определила свое сиюминутное отношение к мужу именно так, но наблюдала за ним с интересом, ощущая подспудно что-то новое и в нем и в себе.

Одновременно она думала, какая это глупость и неприятность — застрять вот так почти у самого дома, но это «почти» — на машине, а пешком, наверное, будет с полчаса — вот в самом деле дурацкий день, невезение!

Но у нее уже не было сил открыто выразить свое раздражение, она устала — слишком много эмоций ушло на недоброжелательное ее с мужем молчание, неприязненные взгляды, которые она бросала на него,— и телерь чувствовала себя какой-то олустошенной. Она, собственно, и сама не совсем лонимала, за что на него злилась. Это стало, ложалуй, уже привычным для нее состоянием: мельтешня, суета, налряжение и одновременно рассеянность, в которых лроходят будни, и заведомая готовность к срыву, к крику, к ссоре; кажется даже, что это твое лраво — сорваться, накричать... Все время на тебя что-то наваливается, куда-то надо слешить, что-то лоскорее сделать, лодгоняют тебя постоянно, лодхлестывают, а ты только огрызаешься на ходу.

И вот точно неожиданно нажали тормоз, и она сидит в бездеятельном, бесломощном ожидании в кабине старенького «Москвича» и смотрит через лереднее стекло, что делает там, у раскрытого калота, ее муж... Ее муж, ее мальчик, с которым они вот уже пять лет живут вместе, и лережито ими за это время много разнокалиберных неприятностей, но ни одна, слава богу, не была настоящей бедой, лодлинной серьезной лотерей.

Они молоды, они здоровы, у них растет сын, а на земле мир, и бегут, бегут один за другим будни. И так все стало лривычно, гладко, что вот целляешься за всякую ерунду и раздражаешься, злишься и забываешь о молодости своей, о здоровье, о том, что на земле мир.

Она лодумала: «А что,если ничего не лолучится и лридется тащиться лешком с авоськами, сетками — ведь сил нет!» Но лотом, лрислушавшись строго к себе, лоняла, что сил хватит. Много сил, много терления, выносливости можно в себе обнаружить, когда знаешь, что н а д о, что иначе лроладешь.

И когда кажется тебе, что голодна, то это тоже еще не голод. Не тот голод, что знали другие люди, родившиеся раньше тебя. И может, ты воспротивишься, если тебя со стороны упрекнут, мол, заелись, зарвались, но в себе-то самой ты знаешь, помнишь, что с чем сравнивать, какие были, бывают беды, что такое покой и что значит, когда для всех он нарушен.

...Она увидела, как муж, отбросив ручку, кинулся вдруг к подъезжающему такси и замахал руками, прося остановиться.

Она подумала: «Таксисты! Да им выручку надо гнать, станут они терять здесь время!» Смотрела издали на двух мужчин, на мужа и на слушающего его объяснения таксиста.

И вот они вместе подошли к «Москвичу». Таксист, высокий худющий парень, заглянул в капот, потом сел за руль, даже не взглянув на пассажирку.

— Трос нужен,— сказал он.— На буксире надо протащить, иначе не заведешься. Да вот у меня троса нету.

Он вылез, но не вернулся в такси, не уехал, а велел ее мужу ловить машины по одной стороне шоссе, а сам перешел на другую сторону.

Пришлось ждать довольно долго, пока наконец не показалась машина, похожая на допотопный автобус, с высоким кузовом, крашенная наполовину желтой, наполовину темно-бордовой краской.

— Ну вот то, что надо! — обрадованно оповестил таксист.— И трос у него есть. Привет, я поехал.

Она проводила таксиста недоуменным взглядом. Вообще-то, конечно, так люди и должны поступать, но бескорыстное внимание, проявляемое незнакомцами в многолюдном городе, где все всегда спешат и никому вроде нет ни до кого дела, воспринималось все же как нечто не совсем обычное. Или, может, это только ей так казалось, потому что закопалась в своих сугубо личных делах и незаметно для себя одичала?.. Вот муж это воспринял вроде как норму, и, наверно, случалось с ним такое не раз. Вероятно, тут действовали особые законы шоферского мужского содружества. Пусть так, но ей было все равно приятно — быть даже просто свидетелем вот таких проявлений человеческого добра, пусть выраженных и скупо, грубовато, в неприметной форме.

Пожилой, небольшого роста мужчина в кепке, с сигаретой в зубах и ее муж возились, закрепляя трос за бампер «Москвича», действовали молча, но в полном согласии, не торопясь и не раздражаясь. Одна попытка — трос соскользнул. Начали все опять. Еще попытка — машина медленно поползла и вдруг, ожив, весело зарычала.

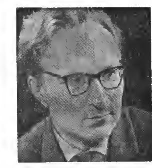
— Давай, давай,— кричал, высунувшись из окна, муж.

А пожилой мужчина, оглядываясь из своей кабины, тоже что-то кричал, и оба они, видно, чувствовали себя хорошо, просто отлично, удовлетворенные сделанным, и неважно, что дело-то было в общем — пустяки.

А жена сидела с мужем рядом, притихшая, не умея и не желая пока словами выразить то, что теперь ощущала: какой-то особый покой, благодарное чувство — ни к кому-то даже определенному — к людям, к мужчинам, чья надежность и сила часто бывают скрыты, неприметны, но это в них есть; когда надо, это проявляется, и на этом держится мир.

Флор Васильев

СТИХИ



✪

Для чего же капли дождя,
Коль они цветов не поят!

Для чего же нужны луга,
Коль на них не растут цветы!

Для чего же нужны цветы,
Коль они не радуют взгляд!

Для чего же нужны глаза,
Коль не видят они красоты!

✪

Словно сойка, жизнь в иных краях
Песни лишь печальные поет.

Где ж ты, радость светлая моя!
Сердце мне покоя не дает.

Если встанет черная беда
У чужих распахнутых ворот,

Сердце говорит: «Спеши туда!»
Сердце мне покоя не дает.

Оттого ночами не спалось,
Оттого и дел невпроворот.

Чтобы в мире радостней жилось,
Сердце мне покоя не дает.

✪

Когда зима завалит снегом
Дворы, дороги и пруды,
Черемуховым ясным светом
Не вспыхнут тихие сады.

Но будут ждать прихода мая,
Таясь и сдерживая пыл.
И сразу вспыхнут, понимая,
Что час цветенья наступил.

Любовь себя до срока прячет.
Что звать ее! Придет сама.
Вином не растопить горячим
Сердец, когда в сердцах зима.

Есть у любви пора цветенья,
И сбор плодов, и снегопад —
Когда она бесплотной тенью
Уходит, не взглянув назад.

✪

Беличий месяц[1] стоит на земле.
Береза обнажена.

Словно купальщица на заре,
Поеживается она,

Голые плечи обжечь боясь...
Снег не задевает их

И падает в черную твердую грязь,
Застенчив еще и тих.

На улице черный и белый цвет,
Октябрь... Рядом свет и мрак...

Но лучшего времени нет
Увидеть, кто друг, кто враг.

✪

Есть в народе такая примета:
«Урожай на грибы — не к добру».
Но сегодня счастливое лето —
Полной горстью от жизни беру.

Все напасти угомонились,
А удачи бьют через край.
А грибы-то! Как раз уродились —
Хоть лопатою их собирай!

Оттого я и счастлив, что рядом
По тропинке проходит лесной
Та, на солнце похожая взглядом,
Та, что стала моею весной.

Так я думал, и так это было,
Но в накрапах грибного дождя
Та пора день за днем уходила,
Счастье вслед за собой уводя.

Снова время грибов! И с корзинкой
Я в испытанный путь выхожу.
Под березою ли, под осинкой
Ни единого не нахожу.

И бреду я, себя убеждая,
Сам себе невесело вру:
«Если нет на грибы урожая,
Значит, эта примета к добру».

Перевел с удмуртского
Евг. ХРАМОВ

[1] Беличий месяц — по-удмуртски октябрь.

Два мнения об одной картине

«Дорогая редакция, в журнале «Юность» № 6 была напечатана репродукция картины В. Хабарова «Портрет девочки». Честно говоря, я никогда не интересовалась живописью и вовсе не разбиралась в ней. Но эта картина заинтересовала меня. Мне так и захотелось вместе с девочкой в уютном кресле прочитать, что же будет дальше с героями книги, так захватившей ее. Я вспоминаю зиму, себя, замерзшую и счастливую после веселого катания на коньках, спешащую в тепло, к интереснейшей книге из библиотеки. Такого впечатления от картины у меня еще никогда не было... Я боюсь показаться наивной в своих выражениях восторга, но на картине все так просто и здорово!

Огромное спасибо автору!

С уважением

Оля Асмолкова».

«В журнале «Юность» № 6 помещен рисунок В. Хабарова из Москвы «Портрет девочки». Вид неряшливый, некультурный: ноги поставлены на сиденье кресла, голова как у беспризорницы, на полу валяется обувь с коньками, а она должна находиться в прихожей. Таким рисунком нельзя привить юным гражданам санитарную культуру, а без санитарной культуры не может быть вообще культуры. Таким рисунком можно привить юным гражданам только плохое, а надо, чтобы было наоборот.

Ю. М. Т., гор Всеволожск».

В. ХАБАРОВ. Портрет девочки.

РАДОСТЬ ОТКРЫТИЯ

Оба письма пришли в редакцию одновременно. Оля Асмолкова пишет о том, что́ изображено на картине, и о настроении, какое вызывает у нее эта картина. Картина напомнила Оле, как она сама зачитывалась книгами, и ей захотелось представить себе, что увлекло девушку на картине. Ну что же, за художника, работа которого остановила на себе внимание человека, к живописи равнодушного, и затронула его так, что он захотел выразить свои впечатления и поделиться ими, можно только порадоваться. Значит, в душе вспыхнула искра интереса к изобразительному искусству. Как знать? Быть может, это — доброе начало, и живопись приобрела сегодня еще одного зрителя, а в будущем сможет приобрести и просвещенного ценителя. Такого, какие необходимы всем видам искусства.

В картине В. Хабарова важно, разумеется, не только то, ч т о на ней изображено, но и то, к а к изображено. Картина, да и всякое произведение искусства, живет единством именно этих двух начал: «что» и «как».

Для девочки на картине чтение — занятие, более того, состояние, которое лучше всего передает ее сущность. Если я хочу написать ее портрет, то должен изобразить ее за книгой, решил, очевидно, художник. И потому книга не просто безразличная подробность, а участница диалога с читателем. В едва приоткрытых губах и сосредоточенных глазах девочки всепоглощающее внимание. Я, писатель, могу только позавидовать автору книги, которую так читают.

Девочка остро переживает происходящие в книге события. Это ощущение создается всем ее обликом и всем строем картины. Обратите внимание: для девочки кресло велико. Она как бы «охвачена» его кругом, и это не только материальный круг, созданный конструкцией кресла. Это тот круг внимания, который хочет создать человек, занятый работой ума и души. Кресло задвинуто в угол комнаты — подчеркнуто желание остаться с книгой один на один. Девочка торопилась к этой книге: едва вбежав домой и забыв убрать ботинки с коньками, раскрыла ее и зачиталась. Какому настоящему книгочею не известны такие минуты, переходящие часто в часы, быть может, самые драгоценные часы общения с книгой!

Сдержан и скромен цвет картины В. Хабарова. Неяркая гамма красок, их негромкая, но явная перекличка создают лирическое, задумчивое настроение. Вот чем, думается мне, привлекла эта работа Олю Асмолкову, и она поспешила поделиться с нами своей радостью. Радостью первого узнавания: как похоже! Часто это и есть первое ощущение, которое вызывает в душе зрителя и читателя произведение искусства,— узнавание: «вот и я когда-то или недавно такое же видел, почувствовал, ощутил». А то, что Оля выразила свое чувство в нескольких коротких и,

как ей самой кажется, наивных строках, в том беды нет. Не так легко первый раз в жизни высказаться о произведении искусства!

В отличие от Оли Асмолковой Ю. М. Т. из Всеволожска убеждена, что разбирается в живописи и что призвана даже не судить о ней, а судить ее. Судить с точки зрения санитарных норм, к тому же понимаемых весьма свирепо. Почему расчесанные на пробор волосы девочки кажутся Ю. М. Т. «головой беспризорницы», ума не приложу! Да, конечно, ботинки с коньками лучше оставлять в прихожей, чем вносить в комнату, но неужто самой Ю. М. Т. не случалось в жизни испытать сильнейшее чувство от вдруг зазвучавшей музыки, сказанных слов или раскрытой книги, когда все забываешь и остаешься там, где застигла тебя волшебная музыка, прекрасные строки, произительные слова.

А санитарные нормы в искусстве? Эдак и молодая женщина, изображенная на картине Брюллова «Итальянский полдень», их нарушает. В солнечный день у нее не покрыта голова (явная опасность теплового удара) и обнажены плечи (опасность солнечного ожога), она собирается есть виноград прямо с куста, не помыв его (желудочно-кишечные заболевания!). Какое счастье, что еще никто не подошел к этой очаровательной картине с такой точки зрения!

С ужасом представил я себе множество шедевров мирового искусства перед судом Ю. М. Т. (Я думаю, можно не оговариваться, что я не ставлю работу молодого художника в один ряд с ними). Рембрандт на автопортрете с Саскией поднимает бокал вина, что, по логике Ю. М. Т., равносильно пропаганде алкоголизма; Венера Джорджоне лежит обнаженная на земле, а Олимпия Мане, столь же обнаженная,— на постели, и обе рискуют простудиться или заработать радикулит. Венера Боттичелли, выйдя из морских глубин, и не думает приводить в порядок развевающиеся волосы. Какое неряшество! А уж как растрепана цыганка Хальса, и говорить нечего.

Возразить Ю. М. Т. хочется не потому, что ей не понравились еще две работы, воспроизведенные в журнале, которые в своем письме в таком же тоне она критикует: мнения о них могут быть разными, но хочется остановиться на том, другом. В письме Ю. М. Т. нет ни строчки, в которой звучала хотя бы тень сомнения в собственной правоте. Она не пишет «мне кажется», «быть может», «может быть, я ошибаюсь». Не хочется цитировать еще одну фразу из ее письма, да придется. «Рисунок сделан художником от слова «худо»,— пишет Ю. М. Т. Коньки в комнате, а не в прихожей — караул, какой пример подается молодежи! — а такое вот «остроумие», напрокат взятая «острота» самого низкого пошиба среди всех грубостей, в разное время сказанных о художниках,— разве тут не надо кричать караул?!

И все-таки само это письмо не требовало бы ответа на страницах журнала, если бы не некоторые другие, огорчительно похожие на него. Их немного, но они есть. Их отличает одна общая черта — безапелляционность. Критические замечания высказываются в них безо всякого желания разобраться в том, что критикуется, с непонятной неприязнью по отношению к молодым художникам, чьи работы не понравились авторам писем, и вдобавок грубо. А грубость, как известно,— основной признак слабой позиции и отсутствия доводов.

Чего-нибудь не знать, в чем-нибудь не разбираться, чего-нибудь не понимать не стыдно, ибо сложен мир, сложно искусство, сложно его восприятие. Все понять и все постичь, особенно смолоду, невозможно. Но вот что действительно стыдно: не зная чего-нибудь, не разбираясь в чем-нибудь, не понимая чего-нибудь, судить об этом с маху, с ходу, сплеча. По принципу «МНЕ это не нравится, ЗНАЧИТ, это никуда не годится».

Несколько лет назад известный искусствовед В. Костин, сделавший много доброго для изучения и пропаганды современного советского искусства, написал (кстати, здесь же, в «Юности») такие слова: «Можно видеть и не увидеть, не понять, не почувствовать...» И далее: «Развитие искусства невозможно не только без движения идей, но и без обновления художественных средств...»

А разве нет? Художественные средства своего искусства обновляли и Маяковский, и Сельвинский, и Пастернак, и Заболоцкий, обновляют и талантливые поэты следующих поколений. Художественные средства своего искусства обновляли Прокофьев и Шостакович, обновлял и обновляет Щедрин, Гаврилин и другие композиторы, идущие за ними.

И не всякий читатель и слушатель может сразу, без внутренней перестройки все в этих средствах понять и почувствовать. На что же можно обидеться в словах В. Костина? Да, не сразу дается понимание серьезной музыки, сложного психологического романа, глубокого кинофильма. Слушать такую музыку, читать такие романы, смотреть такие кинофильмы приходится учиться. И это процесс, длящийся всю жизнь. Недаром советский философ В. Ф. Асмус, замечательный знаток литературы и искусства, написал исследование «Чтение как труд и творчество».

Да, постижение любого настоящего произведения искусства не только наслаждение, но и умственный труд. Вот почему один может пронестись по картинной галерее со скоростью ста полотен в час и не вынести из нее ничего, кроме мелькания красок перед глазами, а другой проведет день в одном зале,— а то и перед одной картиной — и уйдет побледневшим от душевного потрясения и той работы ума и сердца, которую потребовала от него живопись.

На что же обижаться в простых словах В. Костина? Но читатель Д. из Тамбова обиделся. Вспомнил их спустя четыре года и добро бы взялся поспорить. Спор предполагает желание уяснить себе точку зрения того, с кем споришь, уважение к оппоненту, спокойствие. Но читатель Д., говоря об искусствоведе, который объясняет молодым читателям простые, но, увы, часто забываемые истины, пишет: «В. Костин поучает». Откуда такое раздражение? Откуда такое нежелание учиться? А говоря о художнике, работу которого похвалил В. Костин, читатель Д. из Тамбова берет слова, относящиеся к ней, в иронические кавычки. Зачем это?

Среди многих воспоминаний, связанных с посещениями музея, есть у меня одно — и радостное и тягостное. Было это лет двадцать назад. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина после многолетнего перерыва были выставлены полотна французских художников конца XIX — начала XX века: работы Моне и Мане, Писсарро, Ренуара, Гогена, Матисса, Сезанна, Пикассо, Марке. Среди посетителей были люди очень разные. Естественными были и споры. Их и классика вызывает (хотя названные только что художники уже давно стали классикой современного искусства). Это ведь только так считается, что «Сикстинскую мадонну» Рафаэля или «Тайную вечерю» Леонардо каждый понимает сразу и безошибочно и принимает без споров.

Но в тот день среди радостного оживления, среди гула восторженных голосов и голосов недоумеваю-

щих, приемлющих и отвергающих, на весь зал прозвучало громкое и самодовольное: «Тоже мне картина! Да я такую за час намалюю!»

Даже не хочется говорить о том, перед каким полотном прозвучал голос этого Неуважай-Корыто, как называли таких «молодцов» в старину. Это было крайнее выражение невежественного самодовольства и самодовольного невежества. К сожалению, позже не в такой крайней, но в достаточно явной форме с ним приходилось сталкиваться еще не раз. В музеях и на выставках поражали не только грубые реплики, поражали и записи в книгах отзывов — часто не просто несправедливые по отношению к картине, но проникнутые непонятным раздражением против художников, увидевших и изобразивших что-то по-другому, чем это вижу «я». И вот что любопытно: порою под этими отзывами указывались профессии их авторов. И хотелось спросить, а что сказали бы эти инженеры, геологи, врачи, если бы так же самоуверенно и так же грубо кто-то взялся судить их работу.

Вот два читателя, М. и Т. из Алейска, которые, судя по указанной ими профессии, имеют дело со сложной современной техникой. Они утверждают, что поскольку «дух времени на пейзажи не распространяется», значит, и пейзажная живопись должна сохраняться такой, какой она была у художников прошлого.

Как же так? Воздушная дымка, созданная теплым воздухом, влагой и пылью, висела над землей и в давние времена. Она скрадывала очертания предметов, она делала расплывчатыми детали. Видели это художники прошлых эпох? Очевидно, видели в физическом смысле слова. Но очень долго не замечали. Во всяком случае, не передавали на своих картинах. Кладку кирпича, решетку оград, оконные переплеты средневековые художники выписывали, несмотря на любое их отдаление, с неизменной четкостью и подробностью. А потом глаз живописцев открыл для себя воздушную дымку, появилось знаменитое «сфуматто» итальянских мастеров, смягчило жесткие четкие контуры, создало ощущение воздуха — живого, теплого, а вместе с ним ощущение удаленности, ощущение глубины пространства.

Все развитие живописи отразилось, между прочим, и в том, как менялось восприятие пейзажа. Иногда на протяжении жизни одного поколения. Мастер из Нюрнберга Михаэль Вольгемут был еще жив, когда стал знаменитым его великий ученик Альбрехт Дюрер. Они жили в одном и том же городе их окружал один и тот же пейзаж. Но когда Вольгемуту нужен был для фона на алтаре город, он довольствовался сокращенной формулой: кривая улица, несколько домов с островерхими крышами — так обозначался город, город вообще. Сельский пейзаж обозначался холмом и деревом, по которому нельзя узнать, какой оно породы. А рисунки Дюрера отмечают в каждом доме и в каждом дереве то, что делает его особенным и неповторимым. Он передает и состояние природы и собственное настроение при его созерцании. Дюрера занимает, почему так не похожи друг на друга деревья. Его занимает, как меняется облик каждого из них. Иначе упал солнечный луч, переменил направление ветер, зелень вспыхнула золотом. Хочешь, чтобы дерево было похоже на себя, передай даже шепот его листвы кистью! Или резцом! Еще недавно художники и не помышляли о том, чтобы передавать все это. И у Дюрера природа не сразу стала одухотворенной. Чтобы она на его гравюрах, рисунках, картинах заговорила с человеком и о человеке, ушли годы. Как же можно говорить, что пейзаж не меняется?

В детстве мне посчастливилось провести несколько месяцев в школе имени Шацкого, где учителем рисования был удивительный человек и художник Дмитрий Иванович Архангельский, мастер, которому ныне далеко за восемьдесят.

Он позвал меня на занятия своего кружка.

— Да я не умею рисовать!

— Все равно приходи, попробуешь или просто поглядишь.

Как я пробовал, об этом говорить не приходится. Способностей к рисованию у меня не обнаружилось, но то, что я там увидел, помню до сих пор. Вот Дмитрий Иванович ведет наш кружок на этюды, выбирает место. Все принимаются за работу. Дмитрий Иванович сам пишет этюд, отрывается, смотрит, как идут дела у кружковцев, изредка говорит несколько слов. Потом все показывают друг другу этюды. И вот что мне запомнилось тогда, запомнилось, думаю, потому, что Дмитрий Иванович подсказал: на это надо обратить внимание. В кружке было несколько очень талантливых юных художников. Горько говорить, что они погибли на фронте. Их работы были больше всего не похожи одна на другую. Писали один и тот же угол опушки, одни и те же березки, одну и ту же ель, ту же яму, те же кусты, и у каждого все было по-другому: иначе выбраны краски, по-другому положен мазок, по-своему передана игра светотени. У одного опушка радостно зовет в лес, у другого загадывает загадку и даже страшит. Каждый по-своему передал состояние природы и свое отношение к ней. А как же иначе? Иначе зачем живопись, зачем музыка, зачем поэзия? Если каждый будет снова и снова тиражировать один и тот же неизменный пейзаж, зачем искусство? Зачем искусство, если оно будет подчинено примитивно понятным правилам перспективы, не говоря уже о «санитарных нормах»?

Я не хочу говорить, что все письма молодых читателей о работах художников и вообще об искусстве такие.

Проездом побывал в Москве геолог с Камчатки В. Шеймович. Оказался на выставке в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и написал об этом две прекрасные страницы под названием «Сто шедевров и два портрета» со скромным подзаголовком «Записки дилетанта». «И вот Гойя,— пишет он.— Небольшой портрет. Женщина в черном. Донья... Я не помню ее имени, и не это сейчас важно. На портрете человек, нежный, мягкий, печальный, в черных кружевах. С мягким взглядом карих золотых глаз на узком лице. Но лицо не аскетическое. Женщина в летах, но свежая, а щеки так и дышат жизнью. От них и от ее карих глаз на меня полился поток узнавания, любования ею кем-то и чьей-то не моей, к ней любви. Боже! Как ее любили! С каким почтением к ней относились, как уважали ее душевный мир и красоту! Так может любить только Художник, и этот художник — Гойя. Я посмотрел на дату. Гойе было пятьдесят девять лет».

Я начал с письма о картине современного молодого художника, а кончил цитатой из письма о прославленной картине гениального мастера. Авторы этих писем, подчеркнувшие, первая, что она не разбирается в искусстве, второй — что он дилетант, проявили в своих письмах главное, что нужно для того, чтобы приблизиться к искусству,— уважение, интерес и любовь к нему. И это радует. И это вселяет большие надежды.

Сергей ЛЬВОВ

Юрий КОЗЛОВ

ЮНГА С „МАЛОЙ ЗЕМЛИ“

В тринадцать лет за участие в десантных операциях на «Малой земле» краснофлотец Иван Соловьев был представлен к ордену Красной Звезды.

«В 1943 году подростком,— рассказывается в книге «Побратимы»,— он ушел из дома в Геленджик и попросился в команду мотобота, который доставлял на легендарную «Малую землю» боеприпасы и продукты. Летом 1944 года он стал юнгой-сигнальщиком в Дунайской флотилии, освобождал родную землю, затем Болгарию и Югославию, в начале декабря принял участие в десантной операции «Илок-Опатовац». Фашисты решили вернуть утерянные позиции, ввели в бой резервы и танки. Во время отхода десантников к Дунаю Соловьев был контужен и схвачен фашистами. Его бросили в вагон, набитый пленными, и отправили в Австрию, но югославские партизаны освободили узников. Вскоре смелый воин попал в 13-ю бригаду НОАЮ[1], участвовал во многих боях, которые длились здесь до середины мая 1945 года. Однажды, когда партизаны переправлялись через реку Саву, по ним стал бить немецкий пулемет. Вместе с молодым югославом Владо, с которым познакомился еще в эшелоне, Иван Соловьев подобрался к пулемету и расстрелял расчет».

Как же сложилась дальнейшая судьба героя-подростка? Долгое время об Иване больше ничего не было известно. И вот совсем недавно мы узнали в Комитете ветеранов войны — Иван Иванович Соловьев жив-здоров, работает на далекой Чукотке, в городе Анадыре...

[1] Народно-освободительная армия Югославии

Главстаршина Доценко выдал ему бескозырку (чудом удержалась она у Ивана на ушах), бушлат, тельняшку, кто-то из команды пошутил, что при такой тельняшке штаны ни к чему — все равно их не видно. Так Иван Соловьев стал юнгой и сигнальщиком тринадцатого мотобота, по-военному «МБ-13», 83-й бригады морской пехоты, 18-й десантной армии.

Шел март сорок третьего года...

— Вот, Ваня,— серьезно говорили матросы,— тебе тринадцать лет, и мотобот у тебя тринадцатый... Долго, значит, жить будешь, юнга!

Капитан-лейтенант запаса Иван Иванович Соловьев живет сейчас в Анадыре, на улице Рультытегина, в двухэтажном доме с узкой скрипучей лестницей. Анадырские улицы — пастбища ветра, а зимой над каждым подъездом горит мощный прожектор — в пургу можно заблудиться и между двух домов. Из окна Соловьев видит холодное Берингово море, сопки на другой стороне лимана и корабли. Ночью корабли напоминают новогодние елки — столько на них огней.

Прошлым летом он ездил в Геленджик. Ходил по улицам, где ранней весной сорок третьего просил у матросов хлеб; спускался в бухту, на берегу которой ночевал тогда под днищем старой лодки; искал причал, откуда ушел на мотоботе «МБ-13» в свой первый рейс на «Малую землю». Потом он купил билет на белый катер и поплыл на нем в сторону бывшей «Малой земли», и небо было над головой чистым, и чайки летали над катером, и было ему слегка не по себе, что сейчас солнечный день, а не ночь, что вокруг тихо, что идет катер по фарватеру, а не прижимается к отвесному спасительному берегу, который, однако, сразу за Кабардинкой перейдет в пологий, и тогда не будет у катера защиты от береговой артиллерии, самолетов и торпед... А когда прогулка на катере закончилась, он спустился с причала и пошел вдоль берега, вспоминая, что тогда, в сорок третьем, волны выносили на берег обломки деревянных перекрытий, спасательные круги, которыми редко кто успевал воспользоваться, и контуженых чаек. Он подбирал чаек и относил их подальше от воды, чтобы они быстрее пришли в себя. А потом шел на пристань и узнавал, что сегодня из двенадцати мотоботов, ушедших ночью на «Малую землю», вернулись в Геленджик только два.

Год назад Иван Иванович Соловьев получил письмо из Краснодара от полковника в отставке Алексея Максимовича Абрамова, бывшего командира 83-й

бригады морской пехоты: «Вас, помнится, считали погибшим, так как мало кто из членов экипажей мотоботов, ходивших на «Малую землю», остался в живых. И вот неожиданно и совершенно случайно я узнал, что вы живы... Расскажите мне о себе...»

«Да, я жив,— ответил Иван Соловьев своему командиру,— и, если честно, для меня это тоже неожиданность. Во время войны, когда однажды по нашей улице проходила краснофлотская часть, я убежал из дома и забрался в один из грузовиков. Меня хотели отправить обратно, но потом матросы передумали, и вместе с ними я попал весной сорок третьего года в Геленджик. Там сначала слонялся без дела, а затем познакомился с командиром мотобота «МБ-13» главстаршиной Иваном Ефимовичем Доценко и попросился к нему в экипаж. Я сказал ему, что отец воюет, а у матери на руках, кроме меня, еще трое маленьких детей. Главстаршина спросил, умею ли я плавать и грести, и когда я ответил, что вырос на реке, он согласился взять меня в экипаж...»

Когда я спросил Соловьева о его детстве, он ответил, что родился в 1930 году на хуторе Залужье, Ленинградской области. Помнит деда, у которого было несколько книг Пушкина с дарственными надписями «Поручику Соловьеву...» (кто этот поручик? Может, дальний предок, может, просто однофамилец?), помнит кинофильм Чапаев (смотрел его семь раз), круглое мороженое (его привозили на хутор по воскресеньям), игру в «гражданскую войну» (никто не хотел быть «белым»), книгу «Тимур и его команда». Потом вереницы черных самолетов с крестами, подводы с беженцами около разбомбленного моста, картошку (ее доставали из воронки — в огород попала бомба), поездки с матерью за дровами в лес за пять километров (пила тяжелая-тяжелая), потом записку, которую оставил в пустом чугунке — «Мам! Пошел бить немцев!», дорогу в Геленджик, бескозырку, в нее пришлось напихать полкило бумаги, чтобы както держалась на затылке, первый рейс на «Малую землю».

Вернулся из первого рейса тринадцатилетний юнга седым...

В его обязанности входило стоять на носу мотобота и смотреть в воду: нет ли мин. Мин было много, но, даже до одури вглядываясь в черную воду, увидеть их было почти невозможно. Первое время в лунные ночи он принимал за мины тень от собственной бескозырки.

В его обязанности входило также прислушиваться к морю, потому что часто немецкие катера подкрадывались на самом малом ходу, неслышно, а потом включали прожектора, и шлепались на воду торпеды.

А когда светало и мотоботы входили в Цемесскую бухту, он сигналил флажками уцелевшим товарищам и принимал от них сигналы: какие повреждения на судах, кто погиб и не осталось ли сзади по курсу мин. Под утро при ясной погоде мотоботы обычно атаковала немецкая авиация. Матросы называли сплошную круговую атаку «юнкерсов» «каруселью». Самолеты выбирали одну плавучую мишень, строились колесом и по очереди пикировали, расстреливая мотобот из пулеметов. Выходя из пике, они заходили для новой атаки, если первой было недостаточно и из машинного отделения мотобота не валил черный дым. Те, кто хотя бы один раз пережил атаку самолета, помнят об этом всю жизнь. «Карусель» — это получасовая атака, когда пули прошивают мотобот насквозь и спрятаться негде. Тринадцатилетний юнга стал носиться по палубе и кричать «мама!». Он хотел прыгнуть в воду и нырнуть под днище мотобота: ему казалось, что только там можно скрыться от пуль. Главстаршина Доценко, который стоял в рубке и пытался маневрировать не больно-то увертливым мотоботом, выбежал на палубу, схватил юнгу за шиворот, встряхнул и закричал: «Ты что меня на весь тюлькин флот позоришь? Я тебе дам «мама»!»

А когда остатки «тюлькиного флота» (так называли мотоботы из-за их невоенного происхождения) добрались до «Малой земли» и матросы по горло в холодной апрельской воде (причалов не было) разгружали ящики с боеприпасами, Доценко сказал:

— Ладно тебе... На войне все боятся. А кто не боится, тех в первый день убивают. Только можно бояться и делать свое дело, а можно всем свою трусость показать... Кто два раза подряд струсил, к тому на флоте больше доверия нет... А мы хоть и «тюлькин», но все равно флот...

При разгрузке Соловьев ронял ящики с патронами за борт, руки дрожали после «карусели», да и силенок было маловато. Но Доценко его не ругал. Сам нырял в холодную воду, доставал ящики и говорил недовольным десантникам: «Ничего, просохнут к вечеру...»

Их было несколько, двенадцати-тринадцатилетних юнг, уходящих ночами на мотоботах на «Малую землю». Иван Соловьев, Виктор Чаленко, Владимир Довбненко, Руслан Пинчук. Иногда они встречались на пыльных улицах Геленджика, когда мотоботы залатывались в береговых мастерских и у юнг не было особых дел. К тому времени Соловьев считал себя настоящим матросом. Он сходил на «Малую землю» больше десяти раз, обзавелся трофейным парабеллумом в красивой кожаной кобуре и кавалерийским карабином (ценил за легкость).

— А я браунинг больше уважаю,— сказал ему Витя Чаленко.— Не такой тяжелый он, а бьет прицельней...

— Из твоего браунинга только с двух метров в корову стрелять,— возразил Соловьев. Они заспорили, разошлись в разные стороны и не виделись несколько дней.

— Как жизнь? — спросил Соловьев у Чаленко при очередной встрече.

— Да так... Постреливаю...— ответил тот.— В десант не берут, говорят, плавай себе, сынок, на мотоботе... Скучища...

Вскоре Виктор Чаленко погиб. Вместе со своим главстаршиной Ворониным он похоронен в братской могиле на мысе Любви. Погиб и Владимир Довбненко.

— Нас любили,— вспоминает Иван Иванович Соловьев.— Давали лучшую еду, сахар. И каждый считал своим долгом поругать за то, что мы убежали на фронт. Потому что у многих остались дома такие же сыновья. А если юнга погибал, его хоронили всей бригадой. Матросы плакали... Нас всех знали по именам.

Я читал характеристику сорок третьего года на юнгу Ивана Соловьева, подписанную главстаршиной Доценко. «Строптив, всегда имеет собственное мнение»,— написано в той характеристике. С марта по июнь сорок третьего года юнга Соловьев дважды побывал на гарнизонной гауптвахте. А в ночи, когда «МБ-13» уходил в рейсы, он убегал с гауптвахты (сделать это было довольно не просто) и успевал как раз к отплытию. Доценко ворчал, дескать, самый бедовый юнга на всем «тюлькином флоте» попал к нему на мотобот, но в рейс все-таки брал. И снова Соловьев вглядывался в черную воду, а утром сигналил, что

← 1945 год. Пятнадцатилетний юнга Краснознаменной Дунайской речной флотилии Иван Соловьев.

↑ 1942 год. Старшина второй статьи М. Овакимян, сослуживец Соловьева по «Малой земле».

↓ 1975 год. Анадырь. Е. И. Михайлова (Демина) и И. И. Соловьев. Последний раз они виделись тридцать лет назад.

(Фото из архива И. И. Соловьева.)

мотобот на ходу, только открылась в трюме течь и сейчас откачивают воду. Поэтому скорость, наверное, снизится, но до «Малой земли» они обязательно дотянут и помощи им оказывать пока не надо.

А потом, когда уже не стало главстаршины (он погиб при взятии Аккермана, ныне Белгорода-Днестровского), Соловьев понял, что оба раза отправлял его Доценко на гауптвахту, когда «МБ-13» шел в колонне первым, а идущие впереди мотоботы, как правило, на базу не возвращались...

Сейчас Ивану Ивановичу Соловьеву сорок шесть лет. Он ветеран «Малой земли», Краснознаменной Дунайской речной флотилии, югославской партизанской бригады имени Тони Томчичева. Ему приходит много писем, где его просят припомнить тот или иной эпизод военного времени. Пишут из советов ветеранов, из музеев, пишут писатели и журналисты, собирающие материалы о Великой Отечественной войне. Вот отрывок из письма-воспоминания Ивана Соловьева:

«Пятнадцатого или семнадцатого апреля тысяча девятьсот сорок третьего года мы только под утро миновали Кабардинку и двигались к «Малой земле». Погода была отвратительной — шел дождь со снегом, видимость плохая, но для нас это было хорошо. Сзади шли два мотобота, а впереди маячил какой-то катер. Вдруг раздался взрыв, и мы увидели, что катер резко накренился. Когда мы подошли вплотную, то обнаружили, что это бывший рыбачий сейнер (по-моему, у него не было названия, а было только номер, хотя, может быть, я и ошибаюсь: разглядывать времени не было). Мы вытащили из воды двух человек — они были контужены. Одного из поднятых нами людей я знал — это был старшина первой статьи, оружейный мастер Мисак Овакимян, но его все звали Миша, а про второго Доценко сказал, что это начальник политотдела нашей восемнадцатой десантной армии полковник Леонид Ильич Брежнев. Если мне не изменяет память, он был в тужурке или в сером бушлате, а погоны у него были только на гимнастерке. Мы подходили к берегу. Я помню, что пристань там заменяла баржа. Было темновато, и немцы все время пускали в воздух осветительные ракеты, стреляли из пулеметов и орудий, но особенно здорово били минометы. Правда, там, где мы пристали, был крутой берег, и все рвалось наверху, до нас долетали только осколки. Подошли ребята из 83-й бригады, и мы стали разгружать наш мотобот. Стрельба над нами все усиливалась. Приносили раненых. Леонид Ильич был уже переодет в сухое, но было видно, что он чувствует себя плохо. Он подходил к раненым, что-то говорил. Матросы его знали, он и раньше приезжал на «Малую землю». В этот же день, к вечеру, когда немного стихло, я опять увидел Л. И. Брежнева. По-моему, он еще встретил какого-то офицера из Днепропетровска, потому что они разговаривали об этом городе, и было понятно, что оба они его хорошо знают. Когда он увидел меня, спросил: «Как дела, моряк, воюешь?» Я с обидой ответил: «Не воюю, а вожу!», а кто-то из матросов добавил: «Не возишь, а ныряешь, «тюлькин флот»! На что Л. И. Брежнев ответил, что мы тоже делаем нужное дело и что нам на море даже хуже, чем на суше. После этого я видел его еще раз и не встречал больше вплоть до 1956 года, когда уже служил в ВМФ и только что закончил Ленинградское военно-морское политучилище имени Жданова, тогда я видел Л. И. Брежнева в Москве».

«Здравствуй, мой дорогой и маленький юнга, здравствуй, мой старый фронтовой друг! Прости, что я называю тебя «маленький», я таким тебя помню,— напишет Мисак Овакимян через тридцать лет после окончания войны из Еревана в далекий и холодный Анадырь.— Как я рад, что ты жив и что мы наконец нашли друг друга».

Они не виделись с июня сорок третьего года. В июне Соловьев был в первый раз контужен — бомба накрыла их экипаж во время разгрузки мотобота на «Малой земле». Он долго лежал в госпитале сначала в Сочи, потом в Сухуми. Несколько месяцев к нему не возвращалась речь, и соседям по палате казалось, что он навсегда останется немым. После выздоровления Соловьев вернулся в Геленджик. Сопровождал военный экипаж из Новороссийска в только что освобожденный Киев. В городе сбивали немецкие вывески — всюду валялись таблички с названиями улиц. На какой-то площади он увидел, как приготовилась фотографироваться группа военных в незнакомой форме. Моряков среди них не было. Знаками они подозвали к себе юнгу. Фотография пролежала у Ивана Соловьева почти тридцать лет. Совсем недавно он узнал, что незнакомый военный, положивший ему руку на плечо,— Людвик Свобода.

С августа сорок четвертого Соловьев — юнга Краснознаменной Дунайской речной флотилии. Восьмого сентября, в день, когда флотилия вошла в Болгарию, ему исполнилось четырнадцать лет. По Дунаю он плыл на катере, который после «МБ-13» казался ему совершенно непотопляемым. Да и стреляли в Болгарии мало. За все время он только два раза доставал свой любимый карабин.

«Ванечка! Как же так? Ты жив, а я ничего-ничего не знаю! — хранится у Соловьева письмо от Екатерины Илларионовны Михайловой (Деминой) — «Катюши», о которой был в свое время снят фильм по сценарию С. С. Смирнова.— Теперь я обязательно, обязательно приеду в Анадырь!»

— Мы запланировали специальную передачу,— рассказал мне сотрудник Анадырского телевидения Валерий Гажа, — встречу двух старых фронтовиков. Ну, понятно, не виделись люди давно... Приготовились мы к слезам, ахам, охам. Времени нам дали сорок минут. Я все думал: не много ли? Начали... Обычно, когда время подходит к концу, начинаешь делать знаки — дескать, давайте, закругляйтесь, товарищи... Все-таки прямая трансляция на всю Чукотку. А тут словно что-то с нами случилось. Смотрю на диктора — плачет... Смотрю на оператора — что-то побледнел парень. Смотрю на часы — господи, полтора часа прошло! Понимаете, никто из сотрудников студии про время не вспомнил! Я эту передачу на всю жизнь запомнил...

Вместе с Иваном Соловьевым Катя Михайлова воевала в сорок четвертом году в триста шестьдесят девятом батальоне морской пехоты Краснознаменной Дунайской речной флотилии. Было ей тогда шестнадцать лет, и судьба ее была во многом похожа на судьбу Соловьева. Расстались они в ноябре, уже после взятия Белграда, когда десант советских моряков и югославских партизан оказался прижатым к осеннему, разлившемуся от дождей Дунаю. Соловьев вместе с югославами отбивал танковые атаки неподалеку от города Вуковар, а Катя Михайлова привязывала тяжелораненых солдат ремнями к веткам яблонь — вода стремительно поднималась, немцы наступали, надо было перевязывать и отстреливаться, перевязывать и отстреливаться...

Я был в Анадыре в середине осени. Снег еще не выпал, небо над морем голубое—в такую погоду кажется, что видишь, как закругляется вдалеке земной шар, как розовеет море, словно оно поменялось с

небом местами — одним словом, воздушная перспектива отсутствует. Краски яркие и в то же время прозрачные. Соловьев сказал мне, что, когда он стоит около памятника погибшим ревкомовцам Чукотки, а памятник этот на обрыве—внизу море, ему кажется, что он вахтенный матрос большого океанского корабля. Лицо у Соловьева становится в такие минуты задумчивым, он словно не замечает холодного ветра с моря, людей, идущих мимо.

— В сорок пятом,—вспоминает Соловьев,— когда стало ясно, что война скоро закончится, мы все чаще и чаще начали разговаривать о будущем. Мы — это группа русских разведчиков в югославской партизанской бригаде имени Тони Томчичева. В Словении, в горах, около костра сидели трое русских с «шмайсерами» в английских френчах и в башмаках на толстой подошве: я, Коля Сенев, Леша Белогоров — все трое бежали из плена—и мечтали, кто кем будет. Коля собирался стать физиком — с помощью разбитых очков, простой воды из реки он все время показывал нам какие-то опыты, Леша хотел когда-нибудь описать все, что мы пережили, а я со всеми спорил, что через два года буду плавать на судах дальнего плавания... Не получилось. Коля и Леша погибли в последние дни войны, а я так и продолжал плавать по рекам...

— Когда закончилась война, мне было пятнадцать лет,— вспоминает Соловьев.— Я считал себя морским волком, мне казалось, что я прошел огонь и воду — бери на любой океанский корабль капитаном! А оказалось, что мне еще учиться и учиться. Река — вот что я знал! По цвету воды определял глубину, по скорости ветра—силу течения...

В Линнахамари — это на границе с Норвегией — он работал старшим водолазом в команде, поднимающей затонувшие суда. Миноносец времен первой мировой войны, английский транспорт с тушенкой, немецкая подводная лодка, шведская яхта с пушниной...

— Вот так «изнутри» состоялось мое знакомство с морем. Корабль на дне — жуткое зрелище... Приближаешься к нему — сердце бьется, а руки дрожат. Одни водоросли на мачтах чего стоят! А над головой воды метров сорок... Всякая чушь, помню, в голову лезла... Вроде как ребенок в темной комнате: И все равно, я любил ходить под воду!

Он еще сказал, что чувство, которое испытывал, подходя к затонувшему кораблю, сродни чувству разведчика, входящего в незнакомый, занятый врагом город. В чете (роте) поручика Михаила Гольтнина 13-й партизанской бригады имени Тони Томчичева, его звали «Иво Рус». Иво—Иван. Рус—русский. Он удивительно быстро научился разговаривать по-словенски. Говорил почти без акцента. Его одевали в рваную крестьянскую одежду, и он шел вместе с югославским парнем Владо по горным дорогам в города «менять сало на барахло»—смотреть, как организована вражеская оборона.

— Мы закончили войну в середине мая сорок пятого года, —вспоминает Соловьев.—В тот день я сидел в землянке вместе с нашими русскими девушками Аней Филоновой и Аней из города Шахты. Мы чистили автоматы. Это вроде как в мирное время руки на ночь вымыть. Я, помнится, до конца сорок пятого года по ночам не сразу засыпал. Что-то важное будто забыл... А потом вспомню — автомат! Вбежал серб — наш радист, кричит, что рацию починил,— оказывается, война уже неделю как кончилась! Мы побросали автоматы, начали обниматься... А вечером узнаем, что на нас движется группировка немцев под командованием генерал-полковника Александра фон Лера... Помню, опять вернулись в землянку... Девушки автоматы чистят и плачут...

В 1967 году в советском Комитете ветеранов войны югославский посол Видич вручил Ивану Соловьеву вторую югославскую награду — медаль «За освобождение». (Первую награду — медаль «За храбрость» Соловьев получил после взятия Белграда, на одной из улиц которого он уничтожил экипаж немецкого танка, перегородившего улицу пулеметным огнем.) К медали «За освобождение» была приложена грамота, подписанная президентом Югославской республики Тито. Вот текст грамоты:

«Президент Социалистической Федеративной Республики Югославии Иосип Броз Тито по поводу двадцатилетия победы антифашистской коалиции, за участие в освободительной борьбе народов Югославии и достижение единой победы над фашизмом, за сближение и дружбу между народами вручает ратному другу Соловьеву Ивану Ивановичу памятную медаль в знак признания и уважения».

Жена Соловьева рассказала мне, что он беспокойно спит, часто просыпается, что-то горячо говорит по-словенски (сам Соловьев считает, что язык этот он забыл) или начинает вдруг судорожно искать какой-то пластырь—ему кажется, что мотобот дал течь. Еще жена рассказала, что когда он работал в милиции следователем, то хорошие характеристики всегда подшивал сверху, чтобы их прочитали прежде, чем плохие, рассказала мне про ребят, которые, отбыв сроки наказания, приходили к Соловьеву посоветоваться, как жить дальше.

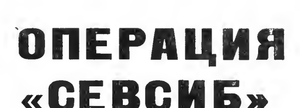
В окружкоме говорили, что юрист Иван Иванович Соловьев ведет большую общественную работу, ездит с лекциями по Чукотке, является членом президиума городской организации общества «Знание», членом совета ветеранов войны при окружном военном комиссариате.

А вот что сказал сам Соловьев:

— Мне сорок шесть лет, а я считаюсь ветераном... Летом в Анадыре белые ночи. Я хожу в бухту, смотрю на корабли. А когда мимо моих окон проходят матросы, мне все еще кажется, что мне двенадцать лет, и так хочется уйти вместе с ними... Почему мне нравится жить в Анадыре? Потому что из своего окна я каждый день вижу море... Мечтаю вернуться на корабль.

...Орден Красной Звезды, к которому Иван Соловьев был представлен в сорок третьем в тринадцать лет, он получил после окончания Великой Отечественной войны...

●



ОПЕРАЦИЯ «СЕВСИБ»

Первого сентября, когда «все девчонки и мальчишки взяли сумки, взяли книжки» и помчались в свои классы, пионерский штаб Первомайского района Москвы уже трубил сбор своего актива. Заседание было коротким и чрезвычайным. На повестке дня всего лишь один вопрос: районная операция «Севсиб».

В июньском номере нашего журнала мы уже рассказывали об инициативе Клуба книголюбов Первомайского Дворца пионеров: школьники собрали полторы тысячи книг и отправили их в далекий сибирский поселок, где строится станция Когалымская, авангардный участок сооружений железной дороги Сургут — Уренгой. Книги прибыли в поселок в целости и сохранности, став солидным фундаментом поселковой библиотеки. Строители прислали своим юным московским друзьям письмо, в котором благодарили ребят, рассказывали о своей нелегкой работе. За лето с помощью студенческих строительных отрядов сквозь тайгу протянулась почти двухсоткилометровая просека, выросли дома, столовая, баня, магазин. «А первого сентября, — писали сибиряки, — в нашем поселке откроется школа...»

Последнее обстоятельство и побудило штаб собраться на экстренное заседание. «По всей стране, — сказал Саша Коптелов, — горят огни комсомольских строек. Там, где проходят молодые строители, остаются новые поселки и города, нефте- и газопроводы, линии электропередач, заводы, дороги. Одна из таких дорог — Северная Сибирская магистраль, которая свяжет далекий Уренгой с обжитой Тюменью. В трудных условиях строители монтажных поездов ведут таежную трассу. И если пионеры-первомайцы чем-то помогут строителям, то в создании новой железной дороги будет частица и нашего труда».

«Давайте поможем ученикам новой школы,— предложила Наташа Орлова.— Сделаем своими руками наглядные пособия. Заработаем на субботниках деньги и купим диафильмы, учебники, карты».

«Можно собирать металлолом, который пойдет на рельсы для Севсиба,— сказала Оля Филиппова.— А на зимние каникулы пригласим школьников с трассы в Москву. А летом строительный отряд старшеклассников поедет помогать сибирякам строить дорогу...»

Штаб подытожил все предложения. Так появилось «Обращение ко всем пионерам-первомайцам», единодушно принятое на районном слете актива. Слет завершился массовым субботником: первый пионерский заработок пошел на приобретение учебных пособий для сибирских школьников. Первые посылки ушли в Тюменскую область. А сейчас каждый отряд, каждое звено более чем сорока школ и интернатов Первомайского района участвуют в операции «Севсиб». Участники операции носят пионерские галстуки, они еще дети. Но начатое ими движение — далеко не детская игра, а настоящее взрослое дело.

Рисунок
С. ШЕХОВА.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

В мае этого года мне довелось быть участником IV советской конференции солидарности народов Азии и Африки, созванной в Баку. На конференцию прибыли представители двадцати восьми стран мира и четырех международных организаций.

Участников конференции приветствовал кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Г. А. Алиев. Вспомнив высказывание Ленина о том, что образцово налаженная социалистическая жизнь закавказских республик будет лучшей агитацией, лучшей пропагандой нашего дела на всем многомиллионном Востоке, он сказал: «Перед вами, участниками конференции, во всем своем величии предстала социалистическая новь Азербайджана, страны передовой экономики, науки и культуры».

И действительно, о поучительном опыте советского Азербайджана, о роли этого опыта в осуществлении высоких идеалов, во имя которых борются участники движения солидарности стран Азии и Африки, говорили многие участники конференции.

Эти горячие речи пробудили у меня рой воспоминаний. В Азербайджане я провел свое детство и юность. Здесь я учился, вступил в партию и участвовал в борьбе за установление Советской власти.

А в конце конференции для ее участников была организована поездка в сельскохозяйственные районы Азербайджана, и я снова оказался в тех местах, где последний раз был в феврале 1921 года — пятьдесят пять лет назад.

Помню, как меня вызвал Бесо Ломинадзе, который в то время был секретарем Бакинского партийного комитета.

— Хотим послать тебя вместе с Джабаром-заде в один из районов Азербайджана на перерегистрацию членов партии. Как ты себя чувствуешь? Мне Тевосян говорил, что ты болеешь? Но нам некого посылать, грамотные наперечет. Сможешь поехать?

— Конечно, смогу! Ну, какая это болезнь — малярия: ею почти все болеют...

— Ну вот и хорошо. Ты ведь Джабара-заде знаешь. Он великолепный пропагандист, хотя, к сожалению, совершенно неграмотный, ни читать, ни писать совсем не умеет. Поэтому всю писучую часть возьмешь на себя. В аулах вряд ли грамотные есть. Хотя мы иногда письма получаем и даже протоколы заседаний партийных ячеек. Может быть, среди членов партии и найдете кого-то из грамотных — тогда они помогут. Но на это особенно не рассчитывай.

Мы распрощались. Я зашел в отдел партийных кадров, где меня снабдили инструкциями и дали пачки анкет для перерегистрации. С Джабаром-заде мы встретились на вокзале. Это был мужчина лет сорока пяти, весь обросший густой щетиной разноцветных волос. Они росли у него как-то беспорядочно, и он их никогда не расчесывал. Говорил он тихо, медленно, без эмоций, но всегда заставлял слушать себя, завладевал твоим вниманием полностью.

Когда мы разместились на нижней скамье вагона, а два мешка с анкетами, двумя бутылочками чернил,

На снимке: член-корреспондент АН СССР профессор В. С. Емельянов и Гамид Абдуллаев, встретившиеся пятьдесят пять лет спустя.

пачкой писчей бумаги и ученическими ручками уложили на верхнюю полку, Джабар-заде снял папаху, вытер большим цветастым платком потную голову и сказал:

— Хорошо. Теперь в Килязи надо два ишака достать. Ехать будем до первого аула на ишаках. Туда на лошади тоже можно, но трудно: ишак лучше пройдет. В Килязи я народ знаю — два ишака дадут. А ты был раньше в этих местах?

Я рассказал ему, как мне пришлось побывать в Килязи год назад, перед наступлением XI армии, выполняя задание подпольного комитета по нарушению телеграфной и телефонной связи между границей Азербайджана и городом Баку.

— Знаю,— улыбнулся Джабар-заде,— я ведь о тебе расспрашивал перед отъездом...

Выгрузились на станции Килязи. Взвалили на спины свои мешки с анкетами и канцелярскими принадлежностями и пошли в станционный поселок. Около одной из дверей в глухом заборе, сложенном из камней известняка разной величины и формы, Джабар-заде снял мешок и стал сильно стучать в дверь. Во дворе залаяли собаки. Послышались шаги, и хозяин-старик открыл дверь. Мы поздоровались. Вошли во двор. Поставили под навес сарая мешки. А нас уже окружили ребятишки.

— Джабар-заде, Джабар-заде! Опять приехал!

Во двор набежали ребята из соседних дворов, за ними появились взрослые. Джабар-заде коротко рассказал собравшимся о цели приезда, после чего хозяин пригласил нас в большую комнату. С нами вошли трое, сели, скрестив ноги, на разостланном на полу паласе. Сын хозяина принес на подносе несколько чуреков, а затем в больших пиалах кислое овечье молоко. После еды все поднялись. Мы поблагодарили хозяина и вышли. На дворе уже стояли два ослика. Анкеты, бумагу и все остальное имущество уложили в переметные сумы — хурджины, которые закрепили на спинах осликов.

Первая часть пути мне была хорошо знакома. Здесь мы проблуждали ночь с 27 на 28 апреля 1920 года, укрываясь до прихода частей XI армии. Тропинка еле различима среди бурой травы, но вот она, как змейка, поползла вверх все выше и выше, извиваясь по склону горы. Справа узкое ущелье, обрамленное суровыми крутыми каменными склонами. Ни деревца, ни кустика, только кое-где в расщелинах сохранилась прошлогодняя пожелтевшая трава.

Когда над нашей тропинкой нависла скала, Джабар-заде слез с ослика:

— Так ехать нельзя. Пусть он один идет. Он умный — все знает, понимает. Нам надо тихо, совсем близко к камню идти. Я тебе покажу, как надо. Иди за мной.

Осликов мы пустили вперед. Они, держась вплотную к скале, опустив головы и медленно переставляя ноги, продвигались по узкой тропе. Мне казалось, что ослики, прежде чем сделать следующий шаг, ощупывают передними ногами каменистую тропу, как бы проверяя надежность опоры.

Джабар-заде встал спиной к скале и стал передвигаться боком, медленно переставляя левую ногу и также пробуя устойчивость опоры, затем, опираясь на левую ногу, он переставлял правую. Я таким же образом следовал за ним. Так передвигались мы минут десять. Но вот скалы расступились, и впереди, в лучах солнца, переливаясь всеми цветами радуги, открылась зубчатая гряда покрытых вечным снегом гор.

Влево и вправо уходили серые громады каменной стены, которую мы только что с таким трудом преодолели, а между этими двумя горными цепями лежало довольно ровное плато, покрытое золотистым ковром прошлогодней травы с блеклыми засохшими цветами. Километрах в двух-трех виднелись сакли аула Зарат, где мы с Джабаром-заде должны начинать свою деятельность по перерегистрации.

Простояв несколько минут, очарованные красотами природы, мы снова взгромоздились на осликов и поехали дальше, еле различая в траве тропинку, ведущую к аулу. До аула оставалось уже не более километра, когда внезапно ослик Джабара-заде остановился: дальше он, очевидно, решил не идти. Джабар-заде дергал его за повод, шлепал по шее, подхлестывал поводом. Ослик только дергал иногда головой, но с места не трогался.

Тогда Джабар-заде слез с осла и стал толкать его обеими руками, стараясь сдвинуть хоть на шаг. Осел стоял как вкопанный. Подул сильный ветер, в воздухе появилась снежная крупа. Стоять было трудно, а двигаться дальше невозможно. Я сошел со своего ослика и направился к Джабару-заде.

— Ну, что делать будем? — в отчаянии воскликнул он.— Эта проклятая скотина теперь будет стоять здесь до глубокой ночи.

Джабар-заде снял с осла свои хурджины, перекинул их на плечо и сказал:

— Пойдем. Как-нибудь доберемся до аула—здесь недалеко.

Мы перегрузили все имущество на второго ослика и отправились дальше. Оставленный на тропинке осел не двигался. Уши у него стояли торчком, потом он вдруг опустил их и пошел за нами. Уже стемнело, когда мы добрались до аула. Окоченевшими пальцами расстегнули пуговицы на своих балахонах из домотканого, грубого «кавказского» сукна. Хозяин сакли — секретарь партийной ячейки — усадил нас у огня. Отогревшись, Джабар-заде рассказал ему о цели нашего приезда. Постепенно в саклю стали собираться члены партийной организации. Она была небольшой — всего двенадцать человек. Когда Джабар-заде спросил секретаря ячейки о том, кто будет вести протокол собрания, тот замялся:

— У нас грамотных нет, никто писать не умеет.

— А кто же у вас обычно пишет протоколы, ведь вы их в Баку посылаете? — спросил Джабар-заде.

— Посылаем,— уныло ответил секретарь,— все время посылаем.

— Так кто же их пишет?

— Мулла пишет, он грамотный. Больше грамотных у нас нет. Только один мулла грамотный, он может читать и писать.

Мы с Джабаром-заде переглянулись. Я вынул пузырек с чернилами и стал заполнять анкеты. Споткнулись на первых же вопросах. Оказалось, что многие не знают точной даты своего рождения. Стали спорить, вспоминать... В анкетах был и вопрос о семейном положении — женат или холост. Тогда еще в Азербайджане процветало многоженство, и иногда на этот вопрос следовал ответ: имею двух или трех жен. Но это было все же очень редко: за жену нужно было платить калым. После заполнения анкет и окончания собрания хозяин предложил всем присутствующим поесть. Расположились, поджав под себя ноги, на простом коврике-паласе на полу сакли.

Хозяин принес эмалированный таз, латунный кувшин с длинным изогнутым носиком и полотенце. Когда мытье рук закончилось, хозяин внес огромный продолговатый поднос, доверху наполненный пловом, и поставил его на палас среди сидящих на полу людей, и все, подтянув рукава, стали брать ру

ками щепоть за щепотью горячий рис с кишмишом и кусочками баранины. Ели с жадностью, молча. Плов был в те годы редкостью, и я знал, что гостеприимство дорого обойдется секретарю.

Когда с пловом было покончено, хозяин опять принес таз, кувшин воды, кусок мыла и полотенце, и мы снова вымыли руки. Кто-то попросил пить. Хозяин наполнил водой все тот же кувшин и принес граненый, из зеленоватого стекла стакан. Просивший пить наполнил стакан, предложив его каждому из сидящих, и, только когда один за другим все отказались, выпил сам. Потом, передавая стакан друг другу, стали пить остальные.

После сытного ужина Джабар-заде снял кожаный пояс, на котором висел наган. К ручке нагана на короткой цепочке была прикреплена стреляная гильза патрона. Тихо и неторопливо Джабар-заде начал рассказывать:

— Меня сажали много раз. Допрашивали. Иногда я называл себя Мамед Кадыр оглы, иногда Али Ибрагимов. Много разных имен придумывал. Когда последний раз меня арестовали, я был Абдуллой Мамедовым. Раньше меня держали в полицейских участках, а последний раз вызвали к самому генерал-губернатору Тлехасу. Допрашивал он сам. Он хотел знать мое настоящее имя, но я продолжал называть себя Абдуллой Мамедовым. Он ударил меня по лицу. Я молчал. Тогда он схватил наган. Я думал, стрелять будет. Но он взял наган за ствол и ручкой ударил меня по зубам. Два зуба выбил.

Джабар-заде открыл рот и, поворачиваясь во все стороны, показал нам беззубые десны.

— Я потерял сознание,— продолжал он,— а, придя в себя, выплюнул зубы и сказал: «Придет время, и этот наган станет моим, а пуля, которая в нем, у тебя в сердце будет!» Тлехас ударил меня ногой в живот. Я упал, а когда пришел в себя, то был уже в тюрьме. Как меня туда довезли, не знаю. Ну, а потом мы взяли власть. Тлехаса судили, приговорили к расстрелу. Я стрелял в него. Не знаю, куда попал. Думаю, в сердце. Гильзу от патрона ношу при себе. Вот она.

Джабар-заде передал нам револьвер с прикрепленной к нему на цепочке пустой гильзой. Все с большим вниманием слушали повествование, не спуская глаз с рассказчика.

В очаге горели, потрескивая, сучья. Было уже поздно, все стали расходиться. Мы тоже вышли из сакли. На небе красовалась полная луна, окруженная светлым ореолом. Хозяин, взглянув на небо, тревожно произнес:

— Совсем яман, плохо, товарищи.

— Что плохо? — спросил я.

— Совсем яман,— покачав головой, повторил он.

И затем, перемежая русские и азербайджанские слова, растягивая их, стал объяснять: «Шай-тан лу-на пой-мал. Дер-жит не пус-кайт». Потом стал что-то быстро говорить по-азербайджански не успевшим еще разойтись по домам членам ячейки. Выслушав секретаря, все бросились по домам. Через несколько минут в ауле началась ружейная пальба.

Я спросил Джабар-заде, что случилось. Он с грустью сказал:

— Видишь ли, черт луну захватил, а они ее освободить хотят!..

Тем временем весь аул пришел в движение. Одни били в пустые ведра, другие в тазы, третьи в листы железа. Появился мулла. Вытянувшись цепочкой, жители стали ходить вокруг аула, производя невероятный шум. Секретарь партийной ячейки оставался все время с нами. Он был бледен, качал головой, вздыхал и беспрестанно повторял: «Совсем

Бакинские комсомольцы двадцатого года перед отправкой на фронт — с левого края, в белой рубашке, Василий Емельянов.

яман, товарищи». Я пытался ему объяснить, с чем это явление связано, но он, казалось, ничего не слышал. И наконец Джабар-заде тихо сказал мне: «Оставь. Все равно сейчас не поймут. Надо много работать, чтобы поняли. Учить надо».

Только к утру стих в ауле шум. Спать в эту ночь нам почти не пришлось. Джабар-заде долго ворочался, потом, подперев голову согнутой в локте рукой, стал всматриваться в угол комнаты. Видимо, задумался о чем-то.

Но вот он повернулся в мою сторону и спросил:

— Не спишь?

— Нет.

— Хочу сказать тебе.

Ему трудно было правильно говорить по-русски. Особенно плохо он говорил, когда волновался и спешил высказать то, что у него наболело. Но в спокойном состоянии он говорил довольно прилично, редко ошибался, а когда сомневался в правильности ударения или выбранного слова, то не стеснялся спросить: как правильно будет?

— Смотри, там, в углу, большая трещина. Чинить дом надо — совсем сломается. Я давно Мамеда знаю — он хороший человек. Когда дом строил, их двое было. Теперь семь человек — места мало. Надо большой дом. Эту стену сломать,— можно еще такую комнату построить. Это можно — место есть. Трудно, но можно.

Джабар-заде смолк и задумался, а затем после паузы стал продолжать:

— Дом можно больше сделать, лучше сделать, пространный, пространный. Нет, просторный — правильно, да-а?

— Да, правильно! — подтвердил я, все еще не понимая, что хочет он сказать.

— Что я думаю, знаешь? О Мамеде думаю. Как самого Мамеда лучше сделать. Он хороший, но многого не знает. Он учился, когда других людей слушал. Он много видел — не все понимал правильно. В луну вчера сам не стрелял — может быть, стыдно было. Мы в ауле были. Может быть, думал: что Джабар-заде скажет, если стрелять буду? Другим людям сказал: стрелять надо! Я слышал, как он говорил вчера. Приказ давал. Вот теперь думаю. Как новый дом построить — знаю. Как старый дом чинить, лучше сделать — тоже знаю. Что надо делать, чтобы человек лучше был,— не знаю. Это очень трудный дело. Конечно, учить надо. Когда говорю, как делать надо,— если поймет, так делать будет. Если мне верит, тоже так делать будет. Если меня боится, тоже делать будет.

Джабар-заде сморщился и с усмешкой произнес:

— Только плохо делать будет, не скоро делать будет. Он будет не говорить, думать будет: ты мне сказал, так делать надо. Я думаю не так. Ты сильный, думаешь, умный. Я не сильный, думаю, больше тебя умный. Ты мне сказал: делай, как я говорю,— я боюсь тебя, делаю, как ты сказал. Делаю плохо. Ты неправильно мне сказал. Инст-ру-кти-ровал. Теперь я знаю, ты не очень умный. Что у меня внутри — ты не знаешь.

Никто не знает,— продолжал Джабар-заде,— что внутри каждого человека. Каждый человек поразному думает. Когда все одинаково думать будут, такая сила будет, такая сила! Все можно очень быстро, очень хорошо делать.

Джабар-заде, обычно молчаливый, в эти ранние утренние часы разговорился. Спать уже не хотелось. Мы встали и вышли во двор. Было довольно прохладно. Справа из-за покрытых снегом гор показались первые лучи солнца, и горные вершины засверкали. Мы стояли, вдыхая полной грудью исключительной чистоты горный воздух, и восхищались. Джабар-заде снова стал излагать накопившиеся у него еще, видимо, никому не высказанные мысли и чувства:

— Учитель, когда говорит, — он как магнит. Ученик тоже магнит. Может быть, не очень сильный, но тоже магнит. Магнит имеет два конца. Разные концы. Да-а! Он может другой магнит к себе тянуть, может толкать от себя. Ты это знаешь. Это все люди знают. Надо знать, какой конец другого человека будет притягивать. Это надо знать. Люди разные. Надо знать людей. Учить надо. Много сильно учить.

Разговор с Джабаром-заде меня сильно взволновал. Как много нам надо знать, чтобы правильно организовать все звенья нашего общества. Одной интуиции, одного желания сделать лучше, чем было раньше, недостаточно. Надо точно знать, что следует перестраивать и что создавать заново. Чрезвычайно важно перестроить самих людей.

Закончив перерегистрацию в первом ауле, мы направились во второй, соседний с ним. Нам дали двух лошадей. Осликов мы оставили в ауле, и их должны были вернуть в Килязи. Так было условлено. Во втором ауле мы встретили комсомольца Ибрагима, прибывшего сюда из Баку. Я его немного знал: встречал на собраниях в Рабочем клубе.

Ибрагим с места в карьер начал рассказывать о проведенной им здесь работе.

— Решили организовать сельскохозяйственную коммуну. Все должно быть общее — весь скот держать вместе, весь инвентарь тоже вместе. Работать тоже вместе, урожай делить поровну, каждому давать одинаково. Долго объяснял, почему так будет лучше. Все меня поняли. Вчера было собрание. Я долго говорил и все объяснил. Согласились. Имя хорошее выбрали для названия коммуны. Сельскохозяйственная коммуна имени Наримана Нариманова.

Все это Ибрагим рассказывал нам с горящими глазами. Он был полон счастья. Так ему хорошо удалось все провести. Он непрерывно повторял:

— Весь скот, все арбы, лопаты, кирки, веревки разные, ремни все принесли в одно место, на один большой двор — там жил богатый человек, он убежал после революции. Мы там организовали правление сельскохозяйственной коммуны.

...В этом ауле мы так же, как и в первом, провели собрание и перерегистрацию. В отличие от первого аула секретарь ячейки здесь был немного грамотен и правильно понимал задачи, поставленные перерегистрацией. Но он не знал сельского хозяйства: это был рабочий нефтепромыслов. Он уехал в Баку мальчишкой и вернулся сюда два года назад в голодное время. После восстановления в Азербайджане Советской власти он организовал в ауле партийную ячейку и возглавил всю работу.

— Ибрагим мне хорошо помогал эти дни,— рассказывал он нам.— Ибрагим грамотный. Я плохо грамотный — очень мало учился. Один год. Пишу плохо. Читать могу не скоро. Плохо. Надо много знать. Трудно. Но ничего. Дело пойдет. Народ хороший, но много не понимает еще. Поймет, лучше будет.

Оптимистические рассказы секретаря партийной организации, и особенно Ибрагима, Джабар-заде, как мне казалось, слушал с большим скепсисом. Он их не перебивал и только изредка задавал вопросы. Но когда мы выехали из аула, Джабар-заде мне поведал:

— Ибрагим — горячий парень. Он хочет все скоро делать, а здесь людям долго думать надо. Они были вчера с ним согласны. Я думаю, не хотели его обидеть. Но они совсем не знают, как будут завтра работать. Ибрагим тоже не знает, секретарь ячейки тоже не знает. Очень трудно будет.

Аул Дара-Зарат, куда мы затем направились, был расположен еще выше, у самой линии снегов. Ехали мы по-прежнему на лошадях. Тропинка вилась по крутому склону, спускаясь в долину. Лошади шли осторожно. Шаг за шагом мы спускались все ниже. И вот наконец круча осталась позади. Тропинка стала более спокойной. Впереди небольшая речка Ата-чай с перекинутым через нее мостиком, сооруженным из двух бревен и набросанных на них коротких жердей. Только мы вступили на мостик, моя лошадь споткнулась, и я вместе с хурджинами полетел в воду. Вода обжигала холодом: речка брала начало из-под снегов. Но я в первый момент даже не почувствовал холода. Анкеты! Все пропало! Анкеты в воде! Вскочив, я вытащил хурджины из воды. Все анкеты были мокрые, из мешков струями текла вода. Мокрые мешки опять погрузили на лошадь. Я дрожал всем телом, а до аула было еще далеко. Но вот наконец, преодолев последний подъем, мы подъехали к сакле секретаря партийной ячейки Абдуллы Абдуллаева.

Собрание решили провести на следующий день. Сегодня надо будет обсушиться самим и высушить анкеты. Сели у огня. В печке — открытом очаге с прямой трубой, сложенной из камня и ведущей прямо на плоскую крышу сакли, горели сучья. Охапка их лежала рядом: пока горел огонь, было

тепло. От одежды шел пар. Мы с Джабаром-заде осторожно отделяли один от другого слипшиеся листы анкет, расправляли их и сушили, держа перед огнем. Нам помогали хозяин и его жена. Так, лист за листом мы высушили все анкеты. Некоторые, правда, я все же переписал.

Когда я сидел у очага и сушил на себе одежду, нахлынул рой воспоминаний о тех днях, когда вот так же, у таких же очагов я проводил дни и ночи в аулах Мугани, в Агдашском районе, у Хакин-Гелоя, вблизи Закатал. Передо мной вставали люди тех дней — Похлебаев, Мойсеюк, Миша Жилин, Ефимков и многие, многие другие. Вот у такого же очага мы готовили себе пищу, сушили свою одежду и обувь и истребляли вшей. С этим простым отопительным устройством из камня я за эти годы сроднился и знал каждую нехитрую деталь его.

Но вот в феврале 1974 года мне довелось побывать на юге США, в штате Джорджия. В предместьях главного города штата, Атланты, американские девушки-историки показали старую рабовладельческую ферму. Они рассказывали о хозяйстве фермы, где проживала семья белых из пяти человек и двенадцати негров-рабов.

— А вот в этом примитивном очаге приготовлялась пища,— рассказывала одна из наших экскурсоводов.

— Как же она здесь приготовлялась? — спросил кто-то.

— А я могу показать как,— сказал я.

Все устройство очага было чрезвычайно близко к тому, каким мне приходилось пользоваться в аулах Азербайджана более пятидесяти лет назад! Близко до деталей. Тот же строительный материал, тот же самый способ кладки камня. Те же самые приспособления для приготовления пищи...

...На второй день в большой комнате, на мужской стороне сакли Абдуллаева, собралось человек семнадцать-восемнадцать. Рядом с хозяином расположились его дети. Все как будто бы так же, как и в предыдущих аулах. Но вместе с тем здесь чувствовалось что-то резко отличное. Абдуллаев, оказывается, уже знал о решении по перерегистрации. Ему были известны и задачи: он читал об этом в газетах. Абдуллаев открыл собрание, изложил цели нашей комиссии, рассказал о Джабаре-заде и, наконец, объявил, что протокол будет писать его сын Гамид.

— Он грамотный,— повернувшись к нам, с гордостью произнес он.

Старший сын, парень лет девяти-десяти, стал писать протокол. Я заполнял анкеты. Когда все было закончено, Джабар-заде сказал, что собрание можно закрыть, и поднялся со своего места, но Абдуллаев вытянул руку и произнес:

— Зачем закрыть? Так нельзя. Петь полагается.

И он запел... Запел «Интернационал» на азербайджанском языке. Никогда раньше я такого пения не слышал. Сильный, красивый голос как-то по-особому звучал здесь, в глухом ауле, у линии вечных снегов. Отцу подтягивали дети. Я плохо знал язык и не разбирал всех слов, но по мелодии понимал:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим...

Какая-то спазма сдавила мне горло. Сердце неистово билось, во рту пересохло. Я видел, что Джабар-заде также был взволнован. У него как-то странно заблестели глаза, а по правой щеке покатилась крупная слеза...

А голос Абдуллаева гремел, утверждая:

Кто был ничем, тот станет всем.

...На следующий день, продолжая путь, мы проезжали через уже знакомый нам аул, где снова встретились с Ибрагимом. Он был удручен и неистово ругался, перемежая азербайджанские ругательства русскими, а в паузах объяснял, что здесь произошло.

— Все назад взяли — и лошадей, и овец, и ишаков. Все арбы, лопаты, кирки — все назад домой унесли. А я уже в Баку писал, как они единогласно организовали сельскохозяйственную коммуну, и протокол этого собрания туда направил. Теперь ничего нет — все разбежались. Совсем ничего не понимают.

Джабар-заде сказал:

— Теперь не понимают, потом поймут. Учить надо.

В аулах Хизинского района мы пробыли две недели, передвигаясь на осликах, лошадях, а то и пешком, нагруженные своими мешками. Но вот все закончено. Перерегистрация проведена, и собран ценнейший материал о фактическом положении в одном из самых глухих в то время районов Азербайджана.

...И вот через 55 лет я снова в этих же местах. Участники конференции, среди которых много гостей из стран Азии и Африки, на двух автобусах приехали в совхоз «Путь Ильича».

Это — большое комплексное хозяйство: животноводство, молочное хозяйство, огородные культуры, садоводство. В совхозе живут и совместно трудятся представители пятнадцати национальностей.

В большом, светлом зале клуба совхоза происходит митинг. Выступивший на митинге секретарь районного комитета партии, рассказав о хозяйстве совхоза, напомнил, что до революции во всем районе не было ни одной школы — сейчас же нет ни одного крупного населенного пункта, где не было бы школы и больницы.

А затем выступала работница совхоза — доярка Шаршала Бабаева. Когда она поднялась на трибуну в белоснежной кофточке и с длинной косой, я подумал: видимо, школьница. Говорила она, как опытный оратор, с большой экспрессией.

А в это время мысли переносили меня в прошлое, к унылым аулам с бедными, полутемными саклями, где собирались только мужчины: женщины закрывались чадрами, и они не имели доступа в помещения, где находились мужчины.

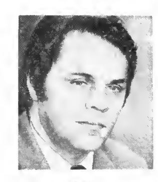
После митинга пошли осматривать хозяйство. Впереди меня шла участница конференции — член Исполкома Африканского национального конгресса Флоренс Мопхошо, а рядом с ней доярка совхоза Ш. Бабаева. Африканка обращается к ней по-английски. Я, уверенный, что Бабаева не понимает, пытаюсь выступить в роли переводчика, но вдруг убеждаюсь, что в моей помощи нет никакой необходимости. Я ошеломлен. Здесь, где прежде не было ни одного грамотного, доярка говорит по-английски!

В Баку я вернулся потрясенный виденным. А на следующий день ко мне пришел сын Абдуллы Абдуллаева — тот Гамид, которого я помнил девятилетним мальчиком. Он врач и заведует отделением туберкулезного санатория. Во время войны был партизаном на Украине. Пришел он ко мне с двумя сыновьями. Один сын у него металлург и увлекается изучением иностранных языков. Он сразу же стал говорить со мной вначале по-английски, а затем по-немецки. Он знает также французский и итальянский. Второй сын — кинорежиссер.

Ну разве это не чудо?

И это чудо совершила Октябрьская революция!

Николай Новиков



✪

Что было — не сплыло: навеки застыло!
Горячий песок и дешевое мыло,
Балтийской волны невысокий бросок,
Дешевое мыло, зыбучий песок.
Край неба такой, что коснусь —
обрежусь,
И бодрость ландшафта, и мускулов
свежесть,
И солнечной жизни беспечная нить,
И с морем нельзя, но охота шутить.
Что было — то было... Не плыло, летело
Мое девятнадцатилетнее тело,
Взлетало на брусья, на столб, на канат
И «солнце» крутило, чтоб страх доконать
На практике этой далекой, курсантской
Я властен над временем был
и пространством,
Под властью старшин — до команды
«отбой» —
Всем миром владел я, владея собой.

✪

Похолодать должно. Не холодает!
Должно пустеть, а все еще летают
Какие-то шальные комары.
Должно ветрить, дождить, разверзнуть
хляби,
Обрушить в лужи дождь,
Изрыть их рябью,
Листвою за ночь забросать дворы...
Должно снежить, свистать
и в трубах плакать,
Прихватывать под утро грязь и слякоть,
Увековечив путь собачьих лап...
А все еще тепло струится с неба,
И словно бы природе не до снега:
И зелен дуб, и тополь не озяб.
Трава не в силах попрощаться с летом,
Какое-то растенье поздним цветом
Спешит расцвесть (а может, и не зря!!).
На свет травинки тонкие прорвались.
В который раз синоптики проврались:
Плюс двадцать три в начале октября!
И от поступков наших веет фальшью:
Достали шубы, лыжи... Что же дальше?! —
В недоуменье лучшие умы...
Чуть-чуть — и соловей засвищет в роще,
Лягушки закричат — они-то проще
Глядят на вещи все эти, чем мы.

✪

Острый мартовский ветер вдали
Разодрал простыню небосвода —
Просияла у края земли
Золотая лазурь, как свобода.
Как свобода — от долгой зимы,
От ее ледяного наследья,
Как надежда, что взята взаймы
У грядущего тысячелетья.

✪

Перед своею дверью с плеч стряхну
Тугой рюкзак и пыльную дорогу.
Москва на месте! Ну и слава богу!
Чуть раздалась в длину и ширину...
Привет тебе, привет тебе, мой дом,
Такой непрочный и невзрачный с виду,
Погоды, непогоды и обиды
Встречающий облупленным углом.
Все на местах: и трибунал старух,
Что к нравам современным беспощадны,
И сложный запах лестничной площадки,
В котором ощутим шашлычный дух.
Как хорошо, что ближние мои,
Как выяснилось, живы и здоровы,
Что вот уж март, что стаяли сугробы,
Что так шумят под крышей воробьи.
Благословляю стол, каков он есть,
И безупречно строгий беспорядок
В нагроможденьях папок и тетрадок
И стопках книг, что не успел прочесть.
Теперь — прочту! Что не решил — решу.
Возьмусь за то, за что еще не брался,
И довершу все то, чего боялся...
И всем знакомым письма напишу.

✪

Самоуверенности мало,
Свободы в жестах и речах...
Крутило прошлое и мяло,
Кулем лежало на плечах.
Откуда грации-то взяться,
Изяществу у мужика!
Умней и лучше — не казаться,
Зато — что есть — наверняка.

✪

Оборвались занавески,
Обломались табуретки,
Остро вылезли пружинки
Из дивана и тахты.
Где цветы, что мы сажали,
Увлажняли,
Ублажали,
Где аквариум и клетка,
Чижик-пыжик, где же ты!
Птицы,
Рыбы,
Звери,
Чашки
Нас в пути сопровождали,
Уплывали,
Улетали,
Разбивались
На пути.
Всех вещей других надежней
Оказалась мясорубка —
Всех привязчивей,
Верней,
Всех прочней — как ни крути!
Время шло, тащилось, мчалось,

В. ЛАКШИН

КНИГА ОСОБОЙ СУДЬБЫ

В Мадриде есть памятник героям Сервантеса: опершись на копье, восседает на своем Росинанте славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, а рядом трусит на осле толстый Санчо Панса. В Копенгагене, прямо в море, рядом с кромкой берега, взобралась на камень Русалочка Андерсена — так почтили датчане гений своего сказочника... В самом деле, не высшее ли это признание и почесть, когда на постамент возводится не сама фигура художника, а его воплощенный вымысел, создание его души, его мечта и фантазия, ставшая неоспоримой реальностью для миллионов людей?

Если бы мы переняли добрый обычай ставить памятники литературным героям, среди первых, пожалуй, мог рассчитывать на эту честь Василий Теркин.

Имя его, как бы отделившись от имени создателя, давно ушло в народ. И по праву. Кто глубже и вернее воплотил подвиг солдата в годы испытаний и высшего напряжения народных сил — Отечественной войны?

Уникальность судьбы этой поэмы еще раз подтвердили две почти одновременно вышедшие книги: «Василий Теркин» в серии «Литературные памятники» («Наука», 1976) и новое, со вкусом оформленное издание поэмы с приложением писем читателей «Теркина», адресованных автору («Современник», 1976).

В творчестве самого Твардовского «Теркин» для многих, несомненно, вершина, «высший миг» поэта. Этим нисколько не умаляется значение других его поэм, за-

А. Твардовский на родном пепелище. 1943 г.

мечательных лирических циклов. Просто эта книга особой судьбы.

Александр Трифонович с обычным своим юмором рассказывал, как однажды его зазвал к себе в гости старый боевой генерал. К концу дружеского ужина поэта попросили прочесть что-нибудь. Он поначалу отказывался, но потом сдался на уговоры и прочитал одно из новых своих стихотворений. «Теркин выше»,— неожиданно резюмировал его чтение хозяин. Поэта раззадорило это замечание, он прочитал еще одно стихотворение, и еще одно, и отрывок из новой поэмы, но что бы он ни читал, генерал приговаривал в конце безапелляционно: «Теркин выше!»

Своя правота у генерала была: есть поколение людей, узнавших «Теркина» на войне, и с ними об этой книге нельзя спорить.

У всякой популярности есть, впрочем, и оборотная сторона. Как это нередко бывает с великими, пошедшими в народ созданиями, они копируются, тиражируются в музыке, живописи, в театре, звучат по радио и с тысячи эстрад, расходятся в присловьях, подражаниях, прибаутках. И «тип», рожденный поэтом, начинает существовать будто бы независимо от души стиха, от самой поэмы, как приблизительная репродукция. Что греха таить, расхожее понятие о Теркине-репродукции сводится к тому, что это талантливое порождение окопного балагурства, традиций райка, лубка, непритязательной стихии народного юмора. Сидит парень в гимнастерке на лесном пеньке — широкая улыбка, пилотка набекрень, в развороте гармоника. У любителей «высокой поэзии» порой сквозит снисхождение к незамысловатой «народности» героя, к языку, быть может, и ловкому и меткому, но простоватому.

Вот почему хочется подойти к поэме заново, перечитать ее как свежерожденную, вчера написанную вещь, еще лишенную шлейфа подражаний и переложений. И вдруг предстанут в новой глубине и поэтической силе и сам герой, и автор, и замысел поэмы как целого. Увидишь ее юмор — и рядом скрытый трагизм. Поймешь военный быт, но и существо н а р о д н о й войны. Узнаешь героя-простака, но рядом умного, сложного человека Теркина. Словом, расслышишь не только перепляс гармошки и вздохи смоленского рожка, но гармонию высокой поэзии.

Поэма начата обыденно и торжественно — одой к воде:

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой,
природной —
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда,—
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б вода.

Почему эти простые, неторопливые строки — почти походное руководство по утолению жажды — властно заставляют к ним прислушаться и едва не перехватывают горло, как отголосок недавней беды? За ними 1941-й, картины долгого отступления по палящей степи, скитаний по лесу в поисках своей части, смертельной жажды после боя и в бреду тяжелого ранения. Но торжественно-эпический тон этих стихов лишь подготовка к главной мысли зачина: душа человеческая и на войне нуждается в поэзии, жаждет правды. Избегая патетики, Твардовский перебивает ее бытовым разговором о походной кухне, кашеваре, солдатских щах, замечая к слову, что и без прибаутки, «шутки самой немудрой» на войне не проживешь. И, расположив нас окончательно этой свободой перехода от драматического, «высокого» к комическому и частному — ведь всему есть место в человеческой душе,— Твардовский выговаривает во вступлении к поэме главные на всю жизнь, заветные свои слова:

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

К автору снова возвращается та интонация с сильными, нагнетающимися повторами, с какой он пел гимн воде.

Вода проста, прозрачна, почти незаметна в нашей жизни, но нужна, как правда, где ее ни добудешь — хоть «из копытного следа». Книга начата «с середины», поэма заявлена «без начала, без конца», лишена избыточного уважения к канонам композиции; сюжет поднят из походной пыли, выхвачен из пламени боев.

Есть в поэме рядом с бытовым, несомненно, «натурным» описанием слой сказочного повествования о добром молодце. Удаль, неизменная удачливость Теркина, подбивающего самолет из винтовки, побеждающего в рукопашной, находящего выход из самого безнадежного положения, сродни подвигам сказочного героя, хоть нигде, в каждом конкретном случае, эти деяния не выходят за рамки случавшегося на войне.

Вымысел, сказочность не во вражде с правдой. Наивное преувеличение не оскорбляет. «Хорошо, когда кто врет весело и складно...» Сказочное удальство, победительная сила добра над злом, даже когда тут и есть капля еще не сбывшегося, но желаемого, да еще в аранжировке теркинского юмора, располагают сердце читателя к этому «ирои-комическому», как говорилось в старину, эпосу.

От каких-то случайных, хрестоматийных представлений осталось в памяти: Теркин — воплощение образцового солдата, примерного воина великой войны. И еще ходкая похвала: поэма — энциклопедия солдатского быта. Верно, но поверху.

Твардовский пишет поэму «снизу», от солдата, и оттого перед читателем возникает не стратегия войны, не штабная карта с красными и синими стрелками, а еловая опушка, где дымит полевая кухня или разъезженная техникой дорога с рытвинами от снарядов. Поэт видит, как крутит поземка в поле, помнит ржавую кашу болот, тропинку в еловой чаще — все исхоженное стоптанными солдатскими сапогами. Энциклопедия быта? Да, это почти полный лексикон войны, окопов и похода.

Но зачем такая плотность фронтового быта — ради правдивости? Нет, для правды. Правдивость подробностей может быть и мелочной, назойливой, почти удручающей. Но в быте можно найти и поэтическую правду. В поэме о Теркине вещи, с которыми не расстается солдат, имеют душу, иногда и больше — судьбу. Вот хотя бы «суконная, казенная, военная шинель». Вся боевая жизнь солдата за ней — прожженная у костра на привале, пробитая пулей и заштопанная солдатом, она в последний час для него еще и погребальный саван:

А убьют — так тело мертвое
Твое с другими в ряд
Той шинелкою потертою
Укроют — спи, солдат!

И такой же своей жизнью живут на войне кисет, который так горько потерять, шапка бойца или драная гармошка. Они одушевлены, в них жизнь солдата, тепло его обихода на войне, его малый дом без крыши, который он всегда носит с собой. Для такого хозяйственного, прочно земного человека, как Теркин, важен всякий клочок мирной жизни. И

если мы видим, как он заботливо совершает постирушку у лесной речки или неторопливо режет (а не ломает!) штыком хлеб, мы понимаем, как важно это чувство устойчивости, прочности жизни между боями. Теркин «курит, ест и пьет со смаком на позиции любой», и, если угодно, как раз это простое, человеческое, домашнее делает его непобедимым.

В начальном замысле какое-то значение для образа Теркина имел герой Гашека (в 1940 году Твардовский отметил это в дневнике), но я хорошо помню, как впоследствии упорно отделял всегда автор своего Теркина от бравого солдата Швейка. Со Швейком его роднил, пожалуй, юмор, укорененность в солдатском быту, непарадность, то, что не зазорно говорить о вещах простых и насущных, о бане, о котелке с кашей, о махорке и сале. Но мешковатый Швейк весело и изобретательно уклоняется от войны, вносит в милитаристский пыл охлаждающую насмешку принципиально «невоенного» человека. Теркин воюет. Он разделяет общую судьбу сражающегося народа. По совести говоря, он вовсе не для войны создан, этот человек, и к петличкам, лычкам, орденам почти равнодушен. А воюет потому, что народ воюет. И сам объясняет так:

От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе — это мы,
Тот народ, Россия.

И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.

Можно сколь угодно зычно, хорошо поставленным голосом декламировать о воинском долге, о патриотизме, но так просто и веско не сказать.

Или вот еще общеизвестная, даже навязшая в зубах «типичность» Теркина. Ссылаются на автора, сказавшего о герое: «парень сам собой он обыкновенный». Порой и в самом деле курносое, симпатичное лицо Теркина двоится (в главе «Теркин — Теркин» он даже разговаривает со своим двойником), троится, множится, и уже можно вложить ему в уста слова о себе, как о чем-то собирательном:

...Был рассеян я частично...
А частично истреблен.

Верно, что в Теркине узнавали себя фронтовой шофер, засыпающий от усталости за баранкой, связист, крутящий ручку зеленого аппарата («Тула... Тула... это ж я. Тула... родина моя»); и разведчик, ходивший за языком на ту сторону, и, конечно, солдат-пехотинец. Узнавали потому, что «парень в этом роде» действительно обнаруживался в каждой роте «да и в каждом взводе».

Все это так и не совсем так. «В этом роде», да не он. «Собирательность» беднее индивидуальности. А Теркин — один такой, каким он написан, наделенный поэтом биографией, судьбой, своей неповторимой личностью, все обаяние которой в этом единственном сочетании простодушия и хитрости, хвастовства и скромности, юмора и печали.

Твардовский иронически относился к совету доброхотов показать, как Теркин «русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил». Подвиги Теркина, несмотря на все его удальство, не в этом роде. Автор даже не постеснялся признаться, что его герой не храбрец, не сорвиголова, он

Человек простой закваски,
Что в бою не чужд опаски,
Коль не пьян. А он не пьян.

Теркин отступает с армией, держит оборону, участвует в наступлении, освобождает родной край, вступает на немецкую землю, и в этом главный сюжет поэмы, общий любому солдату. Но для нас небезразлично и то, что делает его судьбу особенной. Что он, как и сам поэт, родом со Смоленщины, занятой врагом, что он крестьянский сын, что памятно ему пастушеское деревенское детство, как и его автору:

Милый лес, где я мальчонкой
Плел из веток шалаши,
Где однажды я теленка,
Сбившись с ног, искал в глуши...

В эти края ему предстоит вернуться и пережить всю боль разорения родного дома, гибели близких. Чувство связи с оставленным домом, родным кровом вообще очень сильно передано в поэме. Рядом с народом в солдатских шинелях все время действует в «Теркине» народ, провожавший тех, кто отступал с родной земли, семьи солдат, деды и бабки, оставшиеся под немцем. Это к ним, оказавшимся в оккупации людям, относится то смутное, но неотступное, очень русское чувство вины, которое разделяет с автором герой.

Мать-земля моя родная,
Вся смоленская родня,
Ты прости, за что, не знаю,
Только ты прости меня!..

Наверное, это то же неподкупное, верное чувство, какое заставило смутиться танкиста, у которого просили гармонь погибшего командира («Оглянулся виновато на водителя стрелок...»). То чувство, которое уже после войны продиктовало Твардовскому строки о погибших: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...» с их поразительным завершением: «Речь не о том... Но все же, все же...»

Конечно, сам Твардовский причиной, что Теркин его вопреки внешней непритязательности очень умен, и ум его мужицкий, русский, не напоказ. Байки, которые он рассказывает, притулившись к сосне с котелком каши в руках,— это лишь первый план характера. «Окопный философ», он главное свое держит про себя и выражает впрямую редко и скромно. Ошибается тот, кто каждое его слово примет попросту, как сказано. В его речи есть тайное лукавство, часто добрая усмешка, дающая характеру глубину. В каждую эту минуту они с автором еще кое-что знают, о чем не спешат высказаться — расскажут со временем.

Ах, какой вы все, ребята,
Молодой еще народ...

Два слова есть, которыми Твардовский очень охотно действует вместо привычных войсковых. Ребята — это первое его «невоенное» слово, часто возникающее, когда он говорит о солдатах, своих Теркину людях. И второе неуставное слово: работа.

И опять война-работа:
— Становись!

Поединок Теркина с немцем в разведке написан как кровавая драка, с подробностями почти физиологическими. А финал его неожидан:

Смотрит грустно, дышит
тяжко,—
Поработал человек.

И еще одна простая мудрость, к слову высказанная:

Служба — труд, солдат — не
гость...

Слова о работе, о труде войны могли бы прозвучать несколько рискованно, если бы не коренной второй план — мирной жизни героя, Теркина-крестьянина. Теркин задуман и написан — это уже отмечалось критикой — сугубо мирным, штатским человеком, оторванным насильственно от земли, от родного ему дела и надевшим военную шинель. Потому-то он так и обживается на войне и в каждом доме, где принимают его

на ночлег, он желанный гость. Всякая ручная работа у него спорится — развести ли пилу или починить старые, в паутине, стенные часы, не ходившие у деда с бабкой чуть ли не с Первой мировой. На фронте он по-мужицки страдает о незасеянной земле, и, когда поэт замечает, что «от окопов пахнет пашней», мы понимаем, что думать об этом его герою — одна надсада. Мирное летнее сельское утро или вечер мерещатся ему, едва на передовой наступает затишье:

Фронт. Война. А вечер дивный
По полям пустым идет.
По следам страды вчерашней,
По немыслимой тропе.
По ничьей, помятой, зряшной
Луговой, густой траве.

«Пустые поля» — поля непаханые, луга некошеные. Так пожалеть о траве, которая сгодилась бы на доброе сено, а вместо того затоптана гусеницами танков, солдатскими сапогами, может только крестьянин, любящий родную землю и умевший украшать ее своим мирным трудом.

Сила Твардовского в том, что, как у всех великих писателей, владевших тайной юмора, смех и слезы у него рядом, только смех на виду, а горечь притенена, сокрыта от риторики и пафоса. Он не разделяет высокопарного понятия о войне: раз о войне, то уж с лица не должно сходить выражение торжественной пасмурности. «И давайте я на шутку это все переведу»,— любит говорить Теркин.

В самой, быть может, драматической главе «Переправа» замерзший, переплывший к своим через ледяную протоку Теркин с удовольствием слышит над своей койкой, как полковник хвалит его «молодцом». Но герой не теряется от начальственной похвалы, а с обычным своим житейским лукавством тут же использует миг удачи:

И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
— А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?
Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.
— Молодец, а будет много
— сразу две.
— Так два ж конца.

Легко представить себе, как веселила эта находчивость Теркина солдат в окопах. Герой, как всегда, выходил победителем даже из «домашнего» диспута с полковником.

И таких чудесных юмористических оборотов, завитков и колечек в «Теркине» много. Так много и так к месту, что от поэмы часто остаются в памяти, как «сухой остаток», юмористическое описание «малого» и «главного сабантуев», рассуждение о награде («я не гордый, не загадывая в даль, так скажу, зачем мне орден...»), о женах, «от которых на войне только и спасаться», присловья, шутки. Но никак не меньше Теркина-удальца и насмешника действуют на внимательного читателя лирические строки:

Смыли весны горький пепел,
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...

Лирика авторского голоса создает герою-удальцу и балагуру необыкновенно выгодный тон. Музыку поэмы я слышу так: озорной, разудалый мотив Теркина — гармоника, смоленский рожок, а фоном ему то торжественная, то лирическая мелодия, порою орган. Но одно легко переходит в другое: голос автора и голос Теркина порой сливаются неразличимо. И как их общее чувство и общая память звучат строки о боях за безвестный «населенный пункт Борки», и какое-то вдруг восклицание: «как луна теплом бедна!», и картина вьюжного поля, где «с мелкой надписью фанерку занесло снежком сырым».

С той начальной военной поры мысль поэта снова и снова возвращалась «к павшим, без вести пропавшим, с кем встречались мы хоть раз». Он не соглашался с утешительной мудростью, что никто не может быть забыт, и знал, что война такая жестокая вещь, что и память оставит не по всякому:

Кому память, кому слава,
Кому темная вода...

И о своем Теркине обмолвился глухо, не желая прямо вымолвить, что он погиб, но полувздохом — объясняя отсутствие финала в поэме:

Почему же без конца?
Просто жалко молодца.

Так вот и получается, что в характере Теркина важно, конечно же, не одно балагурство и молодечество. И не только окопный быт занимает поэта. Это мир мыслей, способ чувствований народа, оказавшегося в беде и победившего врага. Знаменитое присловье Теркина — «перетерпим-перетрем» помогает понять не только этимологию его имени, но и народную философию жизнестойкости. Теркин всегда верен себе, всегда один и тот же — и в горькую пору отступления, когда он спрашивал себя с мукой: «Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя?»,— и в порыве наступления, когда солдаты «шли вперед своим путем со страдальчески-счастливым, от жары открытым ртом». В сущности, Теркин в его главных ответах на жизнь был воплощением коренных убеждений Твардовского, того, что в старину звали «идеалом» и что сжато определено в строчках одного послевоенного стихотворения поэта:

...Горевать терпеливо,
Не клонясь головой.
Ликовать не хвастливо
В час победы самой.

Поэма очень по-теркински завершена не гордым апофеозом битвы, не взятием рейхстага или парадом Победы, а картиной солдатской бани на немецкой земле, где некоторым вызовом патетике звучит незамысловатый рассказ о том, как «без паники, не спеша надел солдат новые подштанники»...

Твардовский завершил поэму в мирные майские дни 1945 года торжественным и чуть грустным прощанием с героем:

Теркин, Теркин, в самом деле
Час настал, войне отбой.
И как будто устарели
Тотчас оба мы с тобой.
И как будто оглушенный
В наступившей тишине
Смолкнул я, певец смущенный,
Петь привыкший на войне.

Я хорошо знаю все резоны, заставляющие литературоведов строго разделять «образ героя» и «образ автора». И все же временами кажется, что неправильно думать, будто в поэме два лица: Теркин и еще некий «автор». Когда скульптор Коненков задумал лепить Теркина, он уговаривал Твардовского позировать ему хотя бы два-три сеанса,— это не должен был быть портрет поэта, но этюд к Теркину. И это, наверное, правильно. Конечно, Твардовский не Теркин, но сквозь черты героя должно было проступать его лицо, и как жаль, что скульптор не осуществил этот замысел.

В Теркине много авторских черт и дум, в авторе — теркинский лукавый юмор. Они не рядом, но как бы один в другом. Это и есть то, что называется органической народностью: проникновение в мир «простого человека» и узнавание в нем себя.

Среди общих автору и Теркину черт есть одна замечательная и

редкая, тем более что проверена она в испытаниях войны: верная память, сердечное отношение к людям. В противность злопамятству эту черту можно было бы назвать добропамятством. Всех, кто встретился ему на фронтовых дорогах, кто помог словом, делом или участием—благодарит автор в конце поэмы, как благодарил бы Теркин своих «ребят».

С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня!

И это чувство душевного расположения безошибочно вызывает ответный отклик.

Смущенно и вместе горделиво поэт обмолвится в одной из последних глав «Теркина»:

Я в такой теперь надежде:
Он меня переживет.

Твардовский был уже неизлечимо болен, когда в декабре 1970 года почта принесла в его дом письмо — стихотворное послание автору «Теркина», уже от читателя того поколения, которое родилось через годы после войны.

Вошел учитель как-то в класс
И так сказал: «Друзья!
Наш план такой: стихи сейчас
Вам прочитаю я».
Сказать по правде, до сих пор
Стихов я не любил.
Стихи, я думал, просто вздор!
Прочел — и позабыл.
Но было так на этот раз:
Учитель нам читал,
И чуть не плакал целый класс,
И чуть не хохотал.
. . . .
Совсем забыл я в те часы,
Что он стихи читал,
Смотрел я на его усы,
Усов не замечал.
Казалось, в класс пришел солдат
Знакомый, и ему
Я так был рад, я так был рад,
Не знаю, почему.

Школьник, приславший эти стихи, не захотел назвать себя. Тем более сильно, символически прозвучало это последнее обращение к певцу «Теркина» от молодой поросли его читателей.

Вот почему я так хорошо вижу в недальнем будущем на одной из московских площадей или в смоленском парке этот памятник. Наверное, в нем не будет никакой помпезности, вздымающей статую над толпой. Теркину не нужен роскошный пьедестал, он должен быть рост в рост с людьми, и таким, в какого поверят все,— нелегкая художественная задача.

Пока же в основание памятника легли как первые камни закладки эти книги: поэма в серии «Литературные памятники» и письма читателей «Теркина». Они, быть может, помогут скульптору так изобразить солдата, рожденного гением Твардовского, чтобы при первом взгляде на него мы узнали:

Вот он в блеклой гимнастерке
Без погон, из тех времен...—

и переглянулись: «Он?» — «Он».

Олег ДМИТРИЕВ

НАДЕЖДА И ТРЕВОГА

Предо мною восемь авторов довольно объемистой книги («Поколение». Стихи участников VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Март 1975 г. «Молодая гвардия», 1975 г.). Я думаю о них с надеждой и тревогой.

Большинству этих молодых литераторов нет тридцати. «Поколение» увидело свет буквально через несколько месяцев после совещания молодых, а его авторов напутствовали поэты. Что ж — счастливое начало!

Почему я думаю о них с надеждой? Да, это представители поколения, вступившего недавно в пору зрелости. Помыслы авторов чисты, замыслы их благородны. Они перед нами как на ладони, эти люди, выносящие на суд читателей свои первые стихи. Очень хорошо, что к делам своих дедов и отцов относятся они с бережностью. «Старше нас наша память»,— восклицает И. Полякова, и подтверждает В. Урусов, что это не просто слова — в своем стихотворении о безымянных могилах: «Затерялась могила, не слышна, не видна. Но и небо синее, и трава потемней, и цветы покрупнее, слава богу, над ней!»

В стихах о труде, об армейской службе, о природе и о любви — именно такими, осознающими свой долг гражданами предстают перед читателем авторы сборника «Поколение».

Почему же я думаю о них и с тревогой? Потому что добрые помыслы нередко сводятся на нет невысоким уровнем профессионального мастерства. В сборнике этом у дебютантов (в разной, конечно, степени) стихи слабоватые, вторичные, идущие не от жизненного опыта, а от прочитанного раньше. Взять, к примеру, общую для всех тему возвращения фронтовиков в родные места: все стихи не более чем перепев того, что сказано об этом волнующем событии у поэтов, чье детство совпало с войной! Да и удачно подмеченная деталь подчас остается просто деталью, не несущей дополнительной нагрузки: мило, отметим мы, не более того. И где-то в упоении творчеством небрежничают дебютанты со словом, пошаливают с рифмой, прельщаются банальными сравнениями. Наша забота о молодых, прекрасная сама по себе, порою оборачивается послаблением им, ведет к снижению критериев. Право слово, данная книга могла быть более точно составлена и более строго отредактирована; никакое не оправдание всякого рода слабым вещам и стилистическим огрехам то, что сборник издан в рекордно короткие сроки.

С надеждой и тревогой глядим мы на новую литературную поросль. Каждый из них может подписаться под словами своего соседа по «Поколению» Ю. Шигаева: «Намечен я, как завтрашний ручей!»

Да, пока только намечен. Первые шаги сделаны. А сбудутся ли надежды, рассеются ли тревоги? Это покажет время, и здесь многое зависит от самих дебютантов.

САМОЕ ЗЕМНОЕ РЕМЕСЛО

«Мое поколение — это дети войны. Я пережил ее в блокадном Ленинграде. Другие мои сверстники — в трудных условиях эвакуации или под бомбами в прифронтовой полосе, или под сапогом врага на оккупированной земле...» Эти строки — из вышедшей книги стихов Олега Шестинского «Будь Садовником Земли» (издательство «Современник», 1975), на страницах которой — незамирающее эхо Великой Отечественной. Оно — не только в строках, обращенных в прошлое, но и в стихах о нашем сегодня. В поэме «Хлеб наш насущный», посвященной Герою Социалистического Труда В. Т. Христенко, пронзительно звучит горькая мелодия минувшей войны:

> Лишь печаль и забота
> в детском сердце моем...
> Запах хлебозавода,
> запах в сорок втором.

Органного звучания мелодия эта достигает в поэме «Реквием бессмертному классу» болгарского поэта Евтима Евтимова, переведенной О. Шестинским.

Но главная тема этой книги и последнего сборника «Соловьиное гнездо» (издательство «Айастан», Ереван, 1976) — сегодняшний день родной земли. Поэт славит самое земное ремесло — труд хлебороба.

> Честной мерою хлебной
> мерю все на земле.

И это — не декларация, не ради красного словца сказано. Это — поэтическая и гражданская позиция человека, познавшего истинную, а не магазинную цену хлеба.

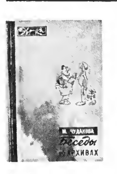
Сыновней любовью и нежностью проникнуты стихи о матери, занимающие значительное место в обеих книгах. Светлый этот образ поэт создает из реальных черт самого родного ему человека и высокой символики. Мать для него — животворное начало всего сущего, как и земля, на которой мы живем — творим и любим, радуемся и страдаем.

Поэма «Будь Садовником Земли», стихи «Соловьиное гнездо», «На родину матери», «Песни армянских гор» отмечены чувством прочной связи О. Шестинского с Арменией. К этим стихам примыкают и переводы из Аветика Исаакяна.

Интернационализм поэта широк. Ему близки индейцы в убогой хижине, узники чилийской хунты, томящиеся на страшном острове Досон, мужественные испанские патриоты...

Две новые книги Олега Шестинского. Две новые встречи с поэтом. Думаю, что они будут радостны для молодого читателя.

Павел САНИН



ЧИТАЯ РИСУНКИ ПУШКИНА

Несколько лет назад на литературной карте нашей страны появился новый интересный маршрут — «Пушкинское кольцо Верхневолжья»: на древней тверской земле любовью, трудом и заботами калининцев были возрождены заповедные, но прежде забытые или полузабытые места, связанные с жизнью и творчеством великого русского поэта.

«Кольцо», теперь по праву знаменитое, — это восстановленные усадьбы, в которых гостил Пушкин, парки, памятники, музеи.

Одним из тех, кто вложил много вдохновенного труда в создание «Кольца», был московский художник Юрий Леонидович Керцелли, безвременно ушедший из жизни. Работая над проектами пушкинских музеев, он тщательно изучал наследие поэта, материалы, связанные с пребыванием Пушкина в Тверской губернии. Результатом его деятельности явились не только блистательные экспозиции в Бернове и Торжке, но и настоящие открытия, проливающие дополнительный свет на связи поэта с Верхневолжьем. Ю. Л. Керцелли впервые определил шесть рисунков Пушкина — пейзажных и портретных, которые значительно расширяют наши представления о тверских привязанностях поэта.

Находки и поиски художника послужили отправной точкой для литературоведа Ларисы Керцелли (жены Ю. Л. Керцелли) в работе над книгой «Тверской край в рисунках Пушкина» (изд-во «Московский рабочий», 1976, предисловие Ю. Нагибина).

Автор так определил замысел работы: «Настоящая книга представляет собой своего рода свод пушкинских рисунков на «тверскую тематику»; основная цель ее — рассказать о тех «тверских»

встречах и впечатлениях, которые зафиксированы в пушкинской графике и которые непосредственно или опосредованно отразились в его поэтическом творчестве, рассказать о людях и местах, оставивших по себе у поэта навсегда благодарную память».

Книга эта увлекает читателя, дарит многими встречами с людьми, которые были близки Пушкину: Алексеем Вульфом и Прасковьей Александровной Осиповой, Катенькой Вельяшевой и Петром Олениным, Анной Вульф и Анной Керн... Но, конечно, главная встреча — с Пушкиным. Ибо книга эта прежде всего о нем. Книга оформлена с большим вкусом и изяществом (автор макета — Ю. Л. Керцели), превосходно издана. Поэтому поздравить с ее выходом в свет можно не только автора, но и издательство и Калининский полиграфический комбинат, где она печаталась. Ну и, конечно же, читателей.

Алексей ПЬЯНОВ

НЕ ТОЛЬКО ОБ АРХИВАХ...

Под веселой радужной обложкой со смешными рисунками художников А. Колли и И. Чуракова, под знакомой рубрикой «Эврика» издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет увлекательную и серьезную книжку М. Чудаковой «Беседы об архивах». Во всеоружии знания архивного дела и истории русской литературы М. Чудакова прежде всего, вероятно, поставила перед собой практическую задачу и пропагандистскую цель: приобщить малоосведомленного читателя (а многие ли из нас осведомлены в архивном деле?) к богатым и скрытым от поверхностного взгляда источникам отечественной культуры.

Форма вольной беседы с читателем и любопытнейшие примеры из истории русских литературных судеб XIX и XX веков придали энергичному рассказу М. Чудаковой легкость и увлекательность. Однако те же качества этого рассказа, допуская большую свободу авторских ассоциаций, способствовали глубокой серьезности книги, перерастающей все ее достойные уважения практические цели. Сквозь полезную информацию, сквозь любопытные подробности, сквозь пылкие советы и мудрые предосторожности слышится голос литератора, наделенного незаурядным даром психолога и лирика, слышится голос человека, размышляющего над необратимостью совершенного личностью и человечеством и над неиссякаемыми возможностями каждого и всех нас вместе, пока мы живы. И чем ближе к концу книги, тем отчетливее и громче звучит этот серьезный, взывающий к самоотчету голос.

Что такое письмо одного человека к другому как психологический акт? И какова роль писания писем в формировании личности? И хорошо ли, что люди разучились вести дневники? Следует ли писать мемуары рядовому человеку, и стоит ли откладывать это занятие на глубокую старость? Каково значение для будущего исторических свидетельств обыкновенного человека, есть ли здесь такая уж непроходимая пропасть между человеком необыкновенным и обыкновенным? Таковы некоторые из поводов для размышлений автора.

Книга М. Чудаковой проникнута уверенностью в глубокой необходимости хранить единство и преемственность духовной культуры человечества, восстанавливать по мере возможности все ее прерывающиеся нногда связи, убедить современников в их прямой причастности к векам прошедшим и будущим.

Екатерина СТАРИКОВА

НА РАСПУТЬЕ ЖИЗНЕННЫХ ДОРОГ

Во времена наших прадедушек и прабабушек молодым людям почти не приходилось задумываться над вопросом: «Кем быть?» И проблемы такой просто не существовало. У крестьянского сына была одна дорога — к сохе. А сын мастерового шел устраиваться на тот же завод, где работал его отец.

Прошло всего несколько десятков лет, и вопрос «Кем быть?» стал вопросом государственного значения. Родилась специальная область знания — профориентация, предназначенная облегчить взрослеющему человеку выбор профессии, помочь ему найти ту точку приложения сил, где его способности раскрылись бы в полной мере.

Сборник «Кем быть?», подготовленный издательством «Молодая гвардия» (1975 г., сост. Ю. Я. Калещук), адресован прежде всего молодому читателю, но может оказаться небесполезным и взрослым. На его страницах выступают ученые, рабочие, журналисты, знатные люди страны — люди, у которых есть чему поучиться. Они рассказывают о себе и своей профессии.

«Каждый человек за свою жизнь не раз и не два встает перед выбором. Собственно, его поведение в «избирательной ситуации» во многом и выявляет характер. Потому что, согласитесь, определенные отрезки времени мы живем как бы по инерции, однажды набрав скорость»,—размышляет И. В. Комзин, комсомолец 20-х годов, строитель Магнитки, начальник строительства Куйбышевской ГЭС, главный эксперт Советского Союза в Асуане.

О специфических требованиях, предъявляемых профессией к организму, идет речь в беседе с доктором медицинских наук профессором И. Д. Карцевым, чьи советы помогут избежать ошибок и разочарований при выборе специальности.

В статье «Разведка самого себя» доктор психологических наук, профессор Е. А. Климов советует тем, кто выбирает специальность, серьезно обдумать, какой т и п профессии соответствует уже сложившимся у них личным качествам.

Что скрывать, беря в руки издание такого рода, меньше всего рассчитываешь на увлекательное чтение. В этом отношении сборник «Кем быть?» — приятное исключение. С интересом воспринимаются и глава «Переписка с читателем» и этюды журналиста В. Крамова о профессиях аэрографиста, медицинской сестры, официанта, секретаря-машинистки, таксиста, привлекающие точно обрисованными профессиональными характерами.

В целом, по признанию составителя сборника, эта книга не справочник и не методическое пособие. Она напоминание. Ибо дорог много, но лучшая для каждого — только одна. С этим нельзя не согласиться.

Александр РАЗУМИХИН

ВОИН И ПУТЕШЕСТВЕННИК

К 80-летию со дня рождения Н. ТИХОНОВА

Более полувека назад в петроградские литературные кружки, и в советскую поэзию, и в мировую литературу пришел молодой человек в красноармейской шинели. Это был Николай Тихонов. Шинель на его плечах означала не только, что у него, бойца, сражавшегося против Юденича, не было другой одежды. Шинель означала физическое и душевное участие поэта в победе нашего народа, отстоявшего свою республику. Тихонов предстал перед читателем как поэт военный. Двенадцать его баллад, его первые книги «Орда» и «Брага» внезапно стали классикой военной поэзии, начатой еще «Словом о полку Игореве» и продолженной «Полтавой», «Валериком», поэмами Полежаева.

Народ, которому навязали гражданскую войну, на который пошли четырнадцать держав, вырабатывал и укреплял лучшие воинские качества — бесстрашие, верность долгу, дисциплину. Для этого понадобились не только уставы, но и баллады, не только военачальники, но и военные поэты. Первым и лучшим из них стал Тихонов.

Он писал в гуще событий, по их непосредственным следам.

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед...

Эти слова из баллады «Перекоп» были написаны сразу же после великой битвы в Крыму. На окраинах страны еще шли бои, и стихи Тихонова помогли многим мертвым сделать шаг вперед, прежде чем упасть.

Вслед Махно, удравшему за рубеж, Тихонов бросил грозные слова:

Не побить всех днепровских уток,
не угнать за лиман все тучи.
Еще много кожаных курток
на московских плечах колючих.

Война была победоносно окончена. Махно был едва ли не последним сопротивлявшимся врагом. И, подводя ее итоги, Тихонов грозно напоминал о том, что еще много кожаных курток, которые носили командиры и комиссары Красной Армии, на московских колючих плечах. Он и сам был такой — худой, подтянутый, с высокими колючими плечами. Таким его запомнили все мемуаристы. И в то же время праздничный, веселый, с огромной жаждою творить.

Вспоминая о своих погибших товарищах, этот гусар первой мировой и гражданской войн сказал:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Люди, приобретшие все качества металла и сохранившие все качества человека, умные, храбрые, умелые, честные люди стали героями Тихонова. Я привел три знаменитых поэтических афоризма Тихонова. Думаю, что они написаны не надолго, а навсегда, что, покуда будет существовать русский язык, люди будут думать и говорить о воинской доблести строками Тихонова.

Однако поэт сделал больше. Он создал русскую балладу. Этот жанр, который сам Н. Тихонов определил как «скорость голую», жанр короткого сюжетного стихотворения, своего рода сокращенной поэмы, из которой выброшены все длинноты и оставлены только действие и судьба, справедливо возводят к Жуковскому.

Тихонов сократил и подсушил старую балладу, уменьшил во много раз ее длительность и резко увеличил ее ударную силу. Не следует забывать также, что почти все баллады Жуковского восходят к зарубежным источникам, а Тихонов вполне оригинален. В едва ли не лучшей из тихоновских баллад — «Балладе о синем пакете» — с бесконечной убедительностью показано, как пакет с воинским рапортом доставлялся с фронта в Кремль — пешком, на коне, на поезде, на самолете, бойцом, не думающим о себе, о своей судьбе, ни о чем, кроме воинского долга. Не произнеся ни одного высокого, патетического слова, Тихонов точно, сухо, немногословно показывает высокое дело и через него душевную высоту человека.

Русская советская военная поэзия началась с Тихонова. Великие мастера стиха, работавшие рядом с ним, быть может, потому, что у них не было тихоновского личного окопного опыта — помните слова Маяковского, что он в долгу перед Красной Армией? — уступили право создания двенадцати баллад петроградскому поэту.

Сильнейшее влияние Тихонова испытали десять или двенадцать поэтов военного поколения — непосредственных участников Отечественной войны. Тихонов искал, находил, ободрял, пестовал, печатал Георгия Суворова, Михаила Дудина, Сергея Наровчатова, Сергея Орлова. И в то же время он создавал и создал — в стихах и прозе — эпос ленинградской осады, летопись великого города, который он защищал все девятьсот осадных дней.

Таков был первый герой, введенный Тихоновым в поэзию, солдат первой мировой войны, ставший красноармейцем войны гражданской. Первая мирная книга Тихонова называлась «Поиски героя», потому что его поэзия не могла существовать вне грозового воздуха подвига и потому что новый герой дался поэту не сразу: его надо было искать.

В эпоху больших строек и великого перелома в деревне, во времена, когда множество людей — вспомним хотя бы двадцатипятитысячников — снимались с места и двигались на край света — нашего советского света, ради непосредственного участия в строительстве, поэт нашел нового героя. Я бы определил его как путешественника с целью укрепления дружбы народов.

«Народ ста народов», как позднее называл нас Юлиан Тувим, представал миру во всем многоцветье своих богатств. Среди ста народов были такие, чья культура уходила корнями в античную древность. Скажем, грузины. Их стихи надо было перевести. И Тихонов (вместе с Пастернаком и Заболоцким) показал двумстам миллионам русских читателей, какие богатства поэзии таились за хребтом Кавказа. Именно грузинская поэзия была первой, над переводами которой потрудились мастера поэзии русской.

Точно так же, как на пушкиноведении в 20-х годах были познаны методы, примененные позднее во всей

На снимках: слева — Н. Тихонов выступает на Всесоюзной конференции сторонников мира. 1950 г. Справа вверху — Н. Тихонов в блокадном Ленинграде. 1942 г.

литературоведческой науке, на переводах грузин выработалась вся школа поэтического перевода.

Тридцать лет спустя, переводя поэта Горного Алтая Бориса Укачина, я вспоминал иные горы, горы тихоновского Кавказа. Работая над гимнами поэзии и молодости — переводами из Межелайтиса,— я вспоминал прославленные строки Георгия Леонидзе:

> Стих и юность — их разделить нельзя,
> Их одним чеканом чеканили.

Эти строки были переведены Тихоновым.

В 30-х годах Тихонов написал блестящую книгу «Стихи о Кахетии». Предлогом, поводом к ней были, может быть, переводы, но это менее всего книга о книгах.

> Уж совхозом Цинандали
> шла осенняя пора.
> Надо мною пролетали
> птицы темного пера.

Уже в первой строке знаменитого стихотворения «Цинандали» место действия — совхоз. Сейчас это — привычное слово. Не будем забывать, что именно Тихонов ввел его в большую поэзию.

Наряду с народами старой культуры в то время на всесоюзную авансцену вышли племена, доселе мало кому ведомые, получившие свою письменность из рук молодых доцентов. Оказалось, что они владеют золотыми запасами поэзии.

Тихонов стал восприемником этих культур. Он учил их поэтов и сам учился у них. Он начинал с основ грамоты политической и поэтической и немногие годы спустя восторженно участвовал в выращивании естественных жемчужин поэзии.

Кайсын Кулиев — одна из многих десятков судеб, в созидании которых участвовал Тихонов.

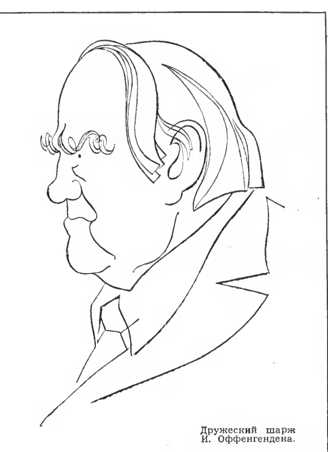
До стихов о Кахетии была написана «Юрга», книга о Туркмении, после — книги о Болгарии, о Югославии, о народах Индостанского субконтинента.

Дружба народов переставала быть только лозунгом, только идеей. Она становилась беседой у костра и работой над рукописью, она становилась опытом, с тем чтобы потом стать стихами. Кажется, из поэтов больше всех сделал для дружбы народов Николай Тихонов. Из огромного тихоновского опыта я намеренно беру только два облика — воина и путешественника. Путешественника во имя дружбы народов. Этого достанет, чтобы обеспечить вечное присутствие в поэзии.

Пишу эти строки вдали от книг, без возможности даже сверить цитаты и думаю: до чего на слуху эти стихи, до чего они в памяти, до чего в душе!

Борис
СЛУЦКИЙ

Всем известен прекрасный Ваш герб.
Он таков:
Трубка мира, перо, ледоруб.
Слишком скучен язык юбилейных
стихов,
Ну, а прозы — неточен и груб.
Видно, Ваша строка нам должна
послужить.
Так мы встретиться жаждем опять,
Что «об этом нельзя ни песен
сложить,
Ни просто так рассказать!»



Дружеский шарж
И. Оффенгендена.

ПЯТЬ МИНУТ ОДИНОЧЕСТВА

В прошедшем олимпийском сезоне эти двое были постоянно в центре внимания любителей фигурного катания. И знаменитого канадца Толлера Крэнстона и нашу совсем юную Лену Водорезову объединяет яростное стремление выразить себя на льду полностью. О том, насколько достижимо это самовыражение и какой оно дается ценой, и рассказывает читателям «Юности» спортивный обозреватель ТАСС Всеволод Кукушкин.

«СМЕЙСЯ, ПАЯЦ...»

Первое интервью у Толлера Крэнстона я брал на пари. Я поспорил с одним из моих коллег, что на декабрьском турнире «Московские коньки-75» знаменитый канадец ответит на все мои вопросы. Крэнстон, как известно, не любит говорить с журналистами.

Для начала я обратился к Крэнстону: «сэр». Другие называли его просто по имени. И переодевшись после выступления, он пришел к тому самому диванчику, где мы договорились встретиться. Сначала говорил я. О его картинах, которые видел дома у Елены и Анатолия Чайковских.

Потом говорил он. Мы немного поспорили, но в конце концов пришли к единому мнению. Прощались мы уже достаточно дружески.

На снимке: фотомонтаж из книги «Толлер».

В итоге я написал материал, который 2 декабря 1975 года был передан по тассовскому телетайпу. Вот что было в том моем интервью с Толлером Крэнстоном:

«Мне пришлось потратить много времени, чтобы меня стали называть «художник, который катается на коньках»,— сказал Крэнстон.— Я стремлюсь всегда оставаться прежде всего художником, а уже потом спортсменом.

— Выступление на льду является для меня одним из средств самовыражения,— так после нескольких минут размышлений ответил на вопрос о своем творческом кредо канадский фигурист.— Откровенно говоря, каждое мое выступление в показательной программе отличается от предыдущего. Даже с одним и тем же музыкальным сопровождением я выступаю каждый раз иначе.

Из современных фигуристов-мужчин ему ближе всех по духу, по своему творческому подходу к фигурному катанию ленинградец Юрий Овчинников.

— Мы с ним делаем свои, пусть даже небольшие открытия, стремимся за границы установленных требований,— подчеркнул Крэнстон.— А ведь большинство «одиночников» все-таки предпочтает выполнять как можно точнее требования судей.

Особый разговор шел о женском одиночном катании.

— На меня произвела большое впечатление Лена Водорезова,— сказал канадский художник.— Ее программа очень спортивна. Вместе с тем для нее выступление на льду — средство самовыражения. Пусть сегодня чувства, которые она вкладывает в каждое свое движение,— детские. Но, я думаю, она всегда будет вкладывать именно душу в каждое выступление. Если это будет так,— мир получит отличную фигуристку.

— Я хочу выступить на Олимпийских играх в Инсбруке. Но если вы меня спросите о тройных прыжках, скажу, что они очень трудные».

О тройных прыжках я спросил его уже после того, как мы попрощались и договорились, что если доведется встретиться на Олимпиаде, то продолжим наш разговор.

— Да, кстати, что ты думаешь о тройных прыжках? — спросил я как бы между прочим.

— О тройных? Я их вставлю в программу, но думаю, что они «оччень трудные».

На том и расстались.

В Инсбруке Крэнстон буквально «продрался» в тройку призеров, сумев взять себя в руки и выполнить программу так, как этого требовали судьи. Мы встретились за кулисами катка, где я поздравил его с этим успехом — мы оба прекрасно понимали, что о его «золоте» не могло быть и речи: он плохо катает «школу», да и в произвольной программе у него уже появились серьезные конкуренты.

— Какое название ты дал тогда нашему интервью? — спросил он.

— «Художник на коньках».

— Слушай, давай встретимся в олимпийской деревне и поговорим там. Я приготовил для тебя мою книгу. Приезжай...

И я приехал и получил в подарок книгу «Толлер», изданную в Канаде, за которую автор не получил ни одного цента — весь доход Толлер Крэнстон отдал своей федерации фигурного катания, чтобы ей было на что посылать спортсменов на международные соревнования. Думаю, что выдержки из этой книги будут интересны читателям «Юности».

Толлер о себе:

«Я второй ребенок в семье Крэнстонов. Моя старшая сестра Филиппа, а младше меня двойня — Голди и Гай.

Моя мать всегда была творческой натурой. У нее постоянно чувствовался голод на приключения, и это проявляется во всем, что она делает. Трагедия ее в том, что она не имела времени, чтобы следовать своим творческим устремлениям. Детям она передала любовь фантазировать, и это главный камень, на котором выстроено здание под названием «моя жизнь».

Мой отец — тихий мужчина, чья единственная цель в жизни любить и растить свою семью, своих детей. Он самый мягкий и добрый человек на свете, и я всегда огорчаюсь, что не смог стать тем сыном, которого он заслуживает».

О Толлере.

Мать: «Толлера было нелегко растить. Он был своволен и настаивал на своем. С того момента, когда он начал говорить, мы поняли, что он необычен».

Отец: «Я никогда не понимал Толлера и до сих пор не понимаю. Но я очень люблю его и горжусь им».

Мать: «Раздался телефонный звонок из полиции. Нас вызывали, чтобы мы забрали Толлера. Мы были уверены, что он лежит в своей постели и спокойно спит. На улице была страшная темень и дождь. Когда мы приехали в полицейский участок, то увидели спокойно сидящего там Толлера, завернутого в одеяло. Из дому он ушел только в... отцовских галошах и с моим зонтиком. Он решил немного пройтись погулять в дождик».

Толлер о себе:

«...О школе у меня нет воспоминаний. Это были просто переходы из класса в класс. Передо мной ставились малозначительные цели и задачи, которые я достигал и решал...

Задолго до того, как я услышал о фигурном катании, я хотел стать танцовщиком. Я был весь во власти этого желания и мало о чем другом мог думать. К моей огромной радости, когда мне было пять лет, родители позволили мне посещать балетный класс вместе с сестрой.

Я намеревался стать великим танцовщиком. Мои мечты прожили только полчаса. Я провалился. Я отставал от других, путал правую ногу с левой, а упражнения у станка молниеносно надоели мне до смерти...

В семь лет меня взяли на карнавал фигуристов, где должна была выступать моя сестра. Когда я увидел ее на льду, я понял, что хочу кататься. У меня появилась новая навязчивая идея. На следующий год родители разрешили мне брать уроки, и через семь месяцев я дебютировал на карнавале фигуристов в Кирклендe.

Мне хотелось стать немедленной «сенсацией», и я работал, работал, работал, пока не научился делать «казацкий шаг». Я выполнил его так хорошо, что зрители наградили меня настоящей овацией. Они требовали «еще», а я рыдал посреди катка — у меня не было ничего готово «на бис».

Вот как Крэнстон описывает один год своей жизни:

«Июль. Начало нового года, начало восьми недель летних тренировок, когда закладываются основы зимних выступлений. Составляется программа, идет работа над техникой катания. Никаких поездок, никаких показательных выступлений. Времени хватает и на тренировки и на рисование. Начинается сезон выставок.

Август. Рисовать становится почти невозможно. Вся энергия уходит только на тренировки. Все отступает перед расписанием. Усталость проникает в каждый мускул. Сон — единственная роскошь, которую я могу

себе позволить. Музыка — мой единственный и самый близкий друг.

В Ванкувере двухнедельный сбор для одиночников. Интенсивные тренировки. В конце месяца — пять полных дней отдыха. Нахожу место, где можно укрыться от всех и порисовать.

Сентябрь. Новая фаза работы. Самое скверное время года — работа над общефизической подготовкой — тело должно быть готово к исполнению пятиминутной произвольной программы. Очень мало возможностей для рисования, но иногда все-таки удается вырваться.

Октябрь. Работа над костюмами. Первые соревнования — «Канадские коньки». Декорации установлены — занавес поднимается. Первые международные соревнования. Целый день гуляния по Вене перед возвращением в Канаду.

Ноябрь. Тренировки. Бостон симпатичен осенью — был на соревнованиях. Требования возрастают. Предложения от телевидения и радио. Поездка в Европу за «двумя зайцами» —устроить свою выставку и выступить на показательных. Времени не хватает. Иногда даже хочется просто сходить в кино.

Декабрь. Показательные выступления в ФРГ, затем эмоциональный пик — катаюсь в Москве. Из Дворца спорта выхожу на мороз с кучей живых цветов. Если бы можно было здесь чуть задержаться. Дома запись традиционной рождественской программы на телевидении. Рождество — день, когда можно забыть обо всем. Если рождество приходится на воскресенье,— считаю, что меня просто ограбили. Перелет. С 26 декабря начинается новый цикл подготовки — тренировки становятся все тяжелее.

Январь. Темп жизни возрастает. На местных соревнованиях выглаживаю ошибки из новой программы, как морщины на костюме. Рисовать можно только поздно ночью. Нервы натянуты. Все поставлено на первые соревнования. С каждым годом становится все труднее. Успех здесь означает толчок к международным состязаниям, но это только начало.

Февраль. Финансовая борьба. Надо успеть сделать тысячу приготовлений к чемпионату мира. Уезжаю на два месяца. Надо найти, с кем оставить собаку. Оплатить все счета. Кажется, что я никогда не уеду. Какое облегчение, когда садишься в самолет. Чувствую себя свободным, раскрепощенным. Две недели сборов.

Март. Заключительные дни — напряжение и одновременно внутренняя собранность. На кон поставлена вся годовая работа. Теперь имеют значение только соревнования. Триумфы, телеграммы и слезы. Медали выиграны и проиграны. Начинается «Тур чемпионов», во время которого мы посещаем все крупные города. Изумительные показательные. Мы все живем в мире и согласии. Не надо ни о чем думать. Дрейфую.

Апрель. Турне продолжается. Аплодисменты продолжаются подолгу. Нас приветствуют стоя — нектар для голодных пчел. Покупаю различные вещи для рисования. Мой внутренний мир снова разрушен. Приближается 20 апреля, и я становлюсь старше на год. Тихо отмечаю этот день у себя дома.

Май. Я должен прокатать еще несколько показательных. Но мало времени остается для рисования и прогулок с собакой. Составлены планы в рисовании на год. Нужно сделать литографии и репродукции.

Июнь. Наконец-то год заканчивается. Рассеянные показательные выступления все-таки требуют внимания. Период рисования и глубоких размышлений. Постепенно возвращаюсь к реальности. Приходит время влюбляться снова».

Фантазия художника Толлера Крэнстона на тему фигурного катания.

Увы, Толлер не рожден спортсменом, ему не хватает «холодной» крови, чтобы получить точный след при исполнении «крюка» или «параграфа». Но в показательных — ему нет равных.

Толлер рассказывает о своих «Паяцах»:

«...Трагический клоун Леонкавалло является эхом тихого, печального голоса гуманизма. Я привел оперу на лед, и это послужило началом новой эры в моем катании и в моей жизни. Открылась дверь...

Я помню вечер, когда были созданы «Паяцы». Я чувствовал странное возбуждение, которое приходит, когда знаешь, что находишься на грани чего-то особенного. В тот момент, когда зазвучала музыка, программа стала на место... В довершение ко всему сквозь стеклянную стену катка, отделяющую его от остальных помещений клуба, меня увидели участники свадьбы. Шум празднества внезапно смолк, когда жених и невеста и шестьдесят их гостей подошли к краю катка. Они стояли довольно долго, и у некоторых из них на глазах были слезы. Так снимает Феллини.

Когда звучит смех Канио, я чувствую, как электрический ток пронзает мое тело...»

В олимпийской деревне мы говорили много и долго. Обо всем на свете. Крэнстон жаловался на одиночество.

— Мне не с кем поговорить. Все фигуристы рассуждают об оценках и прыжках. Джон Карри только для публики говорит о балете, а на самом деле считает десятые и сумму мест.

После чемпионата мира 1976 года, который оказался неудачным для Крэнстона, он во время турне по Европе поссорился со своим тренером — мадам Буркой, с организаторами и... швырнул коньки в воду. Репортеры наняли водолазов, которые достали коньки.

Хотелось бы верить, что водолазы старались не зря и что Крэнстону еще понадобятся эти коньки...

«Ей дали собаку, а она подумала — игрушечная...»

Потом речь зашла о профессиональном балете на льду, который сейчас, по мнению Крэнстона,— лишь набор красочных номеров, напоминающих программу «шикарного» варьете.

— Я не пойду работать в ледовый цирк,— говорил он.— Шоу на льду противоречит моему духовному складу. Но если бы появился настоящий балет на льду...

— Олег Протопопов хочет поставить полный балет на льду...

— Я согласился бы пойти работать в труппу Протопопова. У вас общие представления о прекрасном, и, если пригласить еще Пахомову с Горшковым, Овчинникова, Сергея Четверухина — я называл его в свое время «принц на льду»,— американца Джона Петкевича, мы смогли бы создать настоящий большой балет. Я бы тогда попробовал свои силы и как художник-декоратор...

И вновь возвращаюсь к книге «Толлер». Суждения о себе:

«Сотни голосов кричат внутри меня, призывая каждый идти за ним...»

«Единственное, в чем я уверен, что мое имя — Толлер».

ДЕВОЧКА С СОБАКОЙ

Год назад на соревнованиях на приз газеты «Нувель де Моску» — в мире фигурного катания эти соревнования известны как «Московские коньки»— все только и говорили о двенадцатилетней Лене Водорезовой. Вот как воспринималось ее выступление.

Режиссер «Мосфильма»: «Отрешенность от всего мира. Вдохновение...»

Известный в прошлом фигурист: «Флипчик хорош. Еще тройной! Вращение отличное. Еще каскад из двойных!..»

Тренер Лены (про себя): «Выехала вовремя, пусть судьи глянут... Стать в стойку... Чего эти идиоты тянут с музыкой... Вперед!.. Говорил же — решительнее, у тебя все получится... Бить, бить надо!.. Хорошо, вот поработали и получилось... Есть тройной! Теперь дышать легче будет... Тьфу ты черт! На такой ерунде чуть не грохнулась, ну, завтра я ей дам... Фу, точно успела, без затяжек, тик в тик... На пять и семь, пять и восемь каталась».

Тренер (вслух): «Ну, молодец, все хорошо. Решительности не хватает — зашла хорошо, а прыгнула двойной. Завтра работать будем. Как сама считаешь? Чуть выкатись на лед — поклонись судьям, публике. Вон сколько тебе цветов набросали...»

Тренер (про себя): «Господи, молодец цыпленок! Будет чемпионкой. Работать, работать и работать. Мы весь мир завоюем».

Задаю Лене вопросы, получаю ответы.

Молодец девочка, сразу видна тренерская школа Станислава Жука — уверенно говорит, держится на равных, без смущения. Так и надо. Как-то писал статью, помню, придумал заголовок «Где-то есть девочка...». Жук еще посмеялся: «Чего так писать — уже есть. И не где-то, а у меня, в ЦСКА».

— Ну что же, удачи тебе, Леночка. На Олимпиаду поехать хочешь? (Вопрос с подковыркой — впереди еще отборочные соревнования. Жук ни «да», ни «нет» не говорит.)

— Хочу.

— Я вот тоже хочу. Поедем вместе?

— Конечно, поедем.

— Что я думаю о Водорезовой? — переспросила меня миссис Эллен Бурка, тренер из Канады, которая однажды сделала из собственной дочери чемпионку мира, потом работала с Толлером Крэнстоном.— О девочках такого возраста трудно говорить. Она еще будет меняться. Но у нее все мышцы расположены и развиты так, что она не располнеет и благополучно пройдет переломный возраст.

Миссис Бурка была одета в спортивное красное пальто-куртку, с которой совпадали по тону и рубашка и брюки. Только нелепая хозяйственная сумка, с которой, наверное, удобнее ходить на рынок, чем на такой светский раут, как соревнования фигуристов, делала ее проще, сводила с высоты «дамы» до уровня почти «домохозяйки». Она смотрела на собеседника через толстые очки, и глаза ее казались еще больше, чем они были на самом деле.

Бурка раскрыла сумку и извлекла из ее глубин сложенную вчетверо газету. Это был «Советский спорт». Миссис Бурка раскрыла газету наполовину — на первой полосе был помещен крупный снимок Лены Водорезовой. Снимок был хорош, хотя ретушер немного переусердствовал.

— Я повезу эту газету в Торонто и повешу в нашем клубе. Я скажу в клубе: вот этой девочке из Москвы всего двенадцать лет, и она уже сейчас прыгает тройной аксель и тройной ритбергер.

Из вестника спортивной информации ТАСС (авторы Э. Токарева и Ю. Смирнов):

«На традиционном международном турнире фигуристов на приз газеты «Нувель де Моску» — сенсация. Первое место в соревнованиях одиночниц заняла 12-летняя московская школьница Лена Водорезова. Малышка с голубыми бантиками опередила 18 соперниц, среди которых были и чемпионки отдельных стран. Воспитанница прославленного тренера С. Жука набрала 177,68 балла (сумма мест—12).

Водорезова хорошо выступила в короткой и произвольной программах, продемонстрировав не по возрасту уверенное катание. Ее произвольная композиция была насыщена сложными элементами, среди которых специалисты отметили два тройных прыжка. Однако Лена неплохо справляется и с обязательными фигурами. Ее наставник шутит, что хорошая координация движений у его подопечной наследственная. Мать Лены — гимнастка, а отец — баскетболист.

Лена учится в шестом классе 704-й средней школы. По словам С. Жука, у девочки спортивный характер — она трудолюбива, настойчива. Фигурным катанием Водорезова занимается с шестилетнего возраста. Совсем недавно она первенствовала в юношеском чемпионате страны. И вот теперь — победа в ее первом, столь представительном «взрослом» турнире, где она опередила Уэйди Бэрдж из США, занявшую четвертое место на прошлом чемпионате мира...»

В буфете, за кулисами, фоторепортер «Советского спорта» Юрий Моргулис рассказывал мне:

— Ей дали собачку, а она подумала — игрушечная. Берет ее в руки, а собачка вдруг зашевелилась, задние ноги у нее свесились и растопырились. (Тут он стал показывать, как именно растопырились ноги у собачки.) А я как раз был с этой стороны. На лице у Лены такое было удивление. Я сразу нажал — порядок. Снимок — класс! Обойдет все газеты. Ни у кого такого нет. Они уже потом набежали, а она ведь еще девочка — подыграть не может.

На столике в «боевой» готовности лежали «Никон» и «Лейкафлекс» с электромотором, позволяющим снимать с интервалом меньше секунды.

Болонку Джонни Леночке подарили супруги Гавриленко. Увидели ее выступление и тут же решили подарить ей на счастье свою болонку.

В первый же день Джонни сгрыз Леночкины тапочки...

Служебная телеграмма агентства Ассошиэйтед Пресс: «По австралийскому запросу требуется фотоснимок катания 12-летней московской школьницы Елены Водорезовой, которая выиграла женский титул на московских международных соревнованиях на прошлой неделе. Хотели бы иметь фото по фототелеграфу к 12. 00 по Гринвичу».

А в феврале корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Уилл Гримсли, который считается «первым номером» в олимпийской команде этого крупнейшего репортерского объединения, метался по Инсбруку в поисках Лены Водорезовой. Ему позарез нужен был материал о новой русской «звезде», которая должна была произвести «небольшую революцию» на Олимпиаде. Однако за три дня до открытия Игр девочки и ее тренера — Станислава Жука — еще не было в Инсбруке, и корреспондент просил всех рассказать ему хоть что-то о Лене Водорезовой, о ее стиле катания, о ее родителях, склонностях и обязательно какую-нибудь «вкусненькую» деталь об этой девочке.

Я рассказал ему кое-что. И через несколько дней, когда Игры были в разгаре, Гримсли заглянул в комнату ТАСС и пригласил меня в бар.

— Я угощаю тебя,— пояснил он.— История о Водорезовой обошла все газеты Северной Америки.

И Лена действительно произвела в Инсбруке небольшую революцию — в произвольном катании она была пятой. Самая юная участница Игр рано вставала и поздно ложилась спать — вместе со своим тренером сидела на всех соревнованиях фигуристов, впитывая в себя буквально все. Она смотрела и танцы, и пары, и мужчин-одиночников.

За прошедшее лето она подросла, прибавила в весе почти три килограмма, но на ее прыгучесть это не повлияло. Она продолжает шлифовать сложнейшие элементы своей программы, которые сегодня выполняют во всем мире лишь несколько фигуристок.

Помните, что сказал о Лене Водорезовой Толлер Крэнстон: «Пусть сегодня чувства, которые она вкладывает в каждое свое движение,— детские. Но, я думаю, она всегда будет вкладывать именно душу в каждое выступление. Если это будет так,— мир получит отличную фигуристку».

Станислав Жук добавил бы к этому: «И чемпионку».

●

ГОНКИ В СТИЛЕ «РЕТРО»

Когда мне было лет двенадцать, помню, в нашем дворе жил дядя Леша. И у него был старый, военных лет «Виллис-Джип». Дядю Лешу и его «Виллис» знал весь город, наверное, потому, что таких старых автомобилей в нашем Курске просто не было. Соседи потихоньку посмеивались над ним, называли его машину «Антилопой Гну», а дядя Леша гордо и невозмутимо разъезжал на своей «Антилопе» по всему городу. Правда, ездил он мало. Когда в выходной день из гаража выезжали холеные сверкающие «Волги», «Москвичи» и «Запорожцы», чтобы отправиться на загородную прогулку, дядя Леша забирался в свой гараж и подолгу гремел там гаечными ключами. Однажды Томка, моя подруга и дочь дяди Леши, сказала мне по секрету:

— Знаешь, к отцу какой-то дяденька приходил, просил продать ему нашу машину. Говорит, за десять тысяч куплю...

— А отец что? — спросила я. Томка махнула рукой.

— Что, что... Как будто ты нашего отца не знаешь! Сказал, ни за какие деньги не продаст. Цены, говорит, ей нет.

Тогда мы с Томкой долго пытались разобраться, что хорошего в такой старой развалине и почему ее папа не слушает маму и не хочет продать старую машину, чтобы купить новую.

Я считала дядю Лешу большим чудаком. Ну зачем ему этот «Виллис», когда есть красивые и современные автомобили?..

Тогда я не знала, что пройдет какой-нибудь десяток лет и я, мчась по дорогам Прибалтики в еще более старом, чем дяди Лешин «Виллис», автомобиле марки «Гочкисс», буду с презрением смотреть на встречные новенькие «Жигули». Даром, что новенькие, но все они одинаковые, на одно лицо, и внимания на улице сейчас привлекают мало. А когда ехали мы, то на протяжении почти ста семидесяти километров от Риги до Сабиле люди выстраивались в четыре ряда, залезали на крыши домов, высовывались из окон, чтобы только взглянуть на семьдесят старых и антикварных автомобилей, участников авторалли «Талси-76».

На площади перед рижским аэропортом меня схватила за руку одна женщина и спросила:

На снимке: один из ветеранов ралли — «Крайслер» выпуска 1927 г.

Фото А. КОВТУНА.

— Скажите, а что снимают?

— Здесь? — удивилась я и оглянулась... А ведь действительно похоже на киносъемку.

Стоянка автомототранспорта у аэропорта «Рига» в этот день была необычной. Рядом с ультрасовременным, новым зданием аэропорта выстроились шикарные кабриолеты, лимузины, седаны и фаэтоны, год «рождения» которых не превышает 1940. Члены экипажей одеты соответственно — в цилиндрах, во фраках, в клетчатых жилетках, дамы в длинных платьях и кокетливых шляпках...

Вдруг раздался вой пожарной сирены — это на площадку лихо въехал ярко-красный пожарный «ГАЗ-АА» 1936 года, с дребезжащим ведром на конце длинной деревянной лестницы и с плакатом «При пожаре звонить 01». Бородатые пожарники в брезентовых робах и старинных касках с гребнями, напоминающими шлемы римских воинов...

Короче, все вокруг было выдержано в стиле «ретро».

Двое мальчишек забрались на подножку черного «Мерседеса», чтобы заглянуть внутрь.

— На нем Штирлиц ездил, — доверительно шепнул один другому.

— Угу, — согласился с ним его друг, и они стали осторожно ходить вокруг машины, нежно поглаживая ее ладошками...

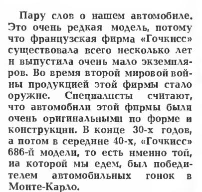
Величавый, огромный, напоминающий какую-то грозную птицу английский «Роллс-Ройс» и рядом с ним элегантный, спортивный кабриолет — немецкий БМВ. Его соотечественник, вишневый «Адлер», скорее походит на большую игрушку. Один за другим на площадь въезжают автомобили марок, известных мне только по журналам: «Штейер», «Майбах», «Ганомаг», «Ваксхол»... Но что это по сравнению со сверкающим черным лаком дубль-фаэтоном фирмы «Окланд», отпрыском знаменитого концерна «Дженерал моторс»!..

Автомобили, участники рижских ралли, делились на два класса: антикварные — выпуска до 1930 года и классические — выпущенные с 1930 по 1940 год. На боку «Окланда» табличка: «1927 год». Колеса на деревянных спицах, громоздкий складной верх, слева на капоте клаксон — звуковой сигнал в форме груши, хромированная облицовка ослепительно играет на солнце... За рулем такой же элегантный, как и его автомобиль, водитель, тоже словно из антикварного магазина — котелок, черный фрак, манишка, галстук-бабочка, белые перчатки. На заднем сиденье очаровательная девушка в кокетливой маленькой шляпке. Узкое длинное платье чуть открывает щиколотки. Все как в старых лентах чаплинских времен...

— Так какое же кино здесь снимают? — не отпускала меня любопытная женщина.

— Немое! — огрызнулась я, намекая на то, чтобы она помолчала. Мой ответ, по-видимому, ее убедил, и она оставила меня в покое.

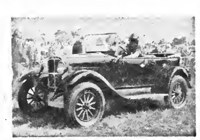
Машины прошли техосмотр, штурманы получили «легенды» трассы. Судья приглашает всех в предстартовую зону. Ралли не командные, поэтому экипажи стартуют с двухминутным интервалом. Я тоже штурман и занимаю свое место. Забираюсь в темно-синий «Гочкисс» и сразу же утопаю в глубоком комфортабельном кресле. Сначала даже как-то непривычно после современного «Москвича»... Деревянная панель приборов, множество ручек и тумблеров, необычный руль. Водитель сидит справа от пассажира. Мы стартуем под 23-м номером. До старта осталось 2 минуты. Эдуард Жилко, мой водитель, легким движением руки нажимает на кнопку стартера, и двигатель заработал. Не спеша подкатываем мы к стартовой линии. Судья показывает часы: 13 часов 30 минут. Отмашка флагом — и мы срываемся с места. Впереди 170 километров трассы авторалли на старых автомобилях.



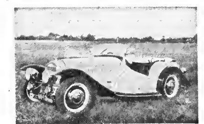
Пару слов о нашем автомобиле. Это очень редкая модель, потому что французская фирма «Гочкисс» существовала всего несколько лет и выпустила очень мало экземпляров. Во время второй мировой войны продукцией этой фирмы стало оружие. Специалисты считают, что автомобили этой фирмы были очень оригинальными по форме и конструкции. В конце 30-х годов, а потом в середине 40-х, «Гочкисс» 686-й модели, то есть именно той, на которой мы едем, был победителем автомобильных гонок в Монте-Карло.

— Эдуард, — говорю я, — а может, мы сейчас сидим в том самом победителе?..

В зеркале заднего вида вижу, как нас догоняет желтый с черными полосами «Фиат—Тополино». За рулем милая молодая женщина. Странно, этого автомобиля я до сих пор не видела... После финиша обязательно разыщу фиатик



«Форд». 1922 г.



«Морган 4×4». 1936 г.

«Опель-Супер-6». 1938 г.

«Хорьх». 1939 г.

«Мерседес». 1938 г.

н его хозяйку... Когда я опять посмотрела в зеркало, «Тополино» исчез. В этот день я его так больше и не встретила. И только назавтра я узнала причину этого загадочного исчезновения.

Примерно в тот момент, когда я бросила взгляд на «Тополино», у него заклинило двигатель, и Бирута Аунинь — единственная женщина-водитель на трассе ралли — вынуждена была прекратить гонку. Но тут подъехал ее муж Алдис на своем антикварном «Де-Сото» и как истинный джентльмен и верный муж взял маленького «Тополино» на буксир. Супруги продолжили гонку. Правда, финишировать им все же не удалось — доблестный «Де-Сото» не выдержал двойной нагрузки. В качестве утешения Бирута и Алдис получили специальный приз «За семейную солидарность».

Второй раз видим на обочине «Рено». Это один из старейших участников ралли — образца 1922 года. Экипаж «Рено» снимает колесо, а водитель Имант Джекобсон с ловкостью виртуоза его разбортовывает. Наверное, лопнула камера. Мы проносимся мимо, торопимся. После финиша, когда все будут бурно обсуждать перипетии гонки, друзья Иманта расскажут мне, что «Рено» десять раз заменял в пути лопнувшие камеры, но упорно шел к финишу. Приз «За волю к победе» жюри единодушно отдало Иманту Джекобсону.

Первое место в классе антикварных автомобилей у Олгерда Орлеанса («Окланд», 1927 г.). В нашем классическом классе победил Гунар Гоба («Ситроен», 1937 г.). А наш «Гочкисс» оказался на четвертом месте.

Волнения позади, теперь отдых. На ночлег мы остановились в живописном уголке на берегу Гауи, в лесном кемпинге неподалеку от Сабиле. Все расходятся по палаткам, зажигаются костры. Мы, москвичи, тоже собрались в кучу.

— Молодцы, поздравляю! — подлетает к нам Слава Мамедов, заместитель председателя нашей секции автомотостарины.— Вошли в пятерку сильнейших.

Не обошлось у наших без приключений. Экипаж московской «Эмки» заблудился. Водитель машины — Василий Иванович Бехтин. Мы его зовем «ветеран на ветеране» потому, что в 30-х годах он уже работал шофером. Автомобиль, на котором он начинал, был «ГАЗ-11-73» (это и есть «Эмка»). И вот прошло почти сорок лет, а Василий Иванович остался верен автомобилю своей молодости и ездит по Москве на собственной «Эмке».

Его штурманом на ралли была жена, Надежда Петровна, а пассажиром ее подруга.

— С одной женщиной еще можно справиться, но с двумя уже не сладишь,— шутит Василий Иванович.— Одна говорит ехать направо, а другая — налево, вот и заблудились...

И вдруг в лесу зазвучал вальс. Это заиграл духовой оркестр. Объявляются танцы. Кавалеры приглашают дам. На поляне закружились пары. Мелодия старинного вальса, духовой оркестр, желтый свет фонаря, силуэты старых автомобилей. Что это?.. Уж не перенеслись ли мы на тридцать, сорок, пятьдесят лет назад на машине времени?.. Именно перенеслись! И каждый на машине своей марки. Кто на «Эмке», кто на «Окланде», кто на «Майбахе», кто на «Рено»...

А вот самая маленькая машинка того времени — спортивный кабриолет «Морган 4 × 4» образца 1936 года. Вес этого малыша всего 600 килограммов, а высота 65 сантиметров! Кроме того, он является и самой редкой моделью. В нашей стране это единственный сохранившийся экземпляр старейшей английской фирмы «Морган», начавшей свое существование еще в начале века. А в Европе таких автомобилей осталось всего четыре.

— Я очень давно мечтал иметь автомобиль именно такого типа,— рассказывает хозяин машины Геннадий Михайлов.— И вот однажды представился такой случай. Один мой знакомый рассказал, что на Рижской киностудии есть «древний самоход», который вот уже много лет без движения стоит в гараже. «Древним самоходом» оказалась груда железа. Домой я этот «Морган» привез, как говорят, в мешке.

Глядя теперь на эту сверкающую игрушку, невозможно поверить, что когда-то она представляла собой просто небольшую горку ржавого металла. Почти все автомобили, которые я сегодня видела, имели похожую историю второго рождения. Члены рижского клуба антикварных автомобилей ищут и находят старые, поржавевшие агрегаты, а потом по крупицам восстанавливают их. Восстановили один автомобиль, принимаются за другой...

— Наша цель,— говорит председатель клуба Виктор Кулбергс,— рассказать людям об автомобилестроении, чтобы они могли проследить эволюцию автомобиля, начиная с самых первых образцов и до наших дней. Мы хотим создать общественный музей истории автотехники, в котором будут экспонироваться самые лучшие наши автомобили.

Самые лучшие — это значит самые редкие, самые старые и самые оригинальные. Судя по сегодняшнему параду, коллекция у рижан уже богатая.

— Недавно мы нашли уникальный автомобиль,— продолжает свой рассказ Виктор Кулбергс.— «Руссо-Балт», да притом еще и пожарный, выпущенный в 1912 году по спецзаказу Петровского пожарного общества г. Риги. А вы знаете, что «Руссо-Балт» — единственный выпускавшийся в заводских условиях российский дореволюционный автомобиль? Нашли мы его в городке Рауна, Валмиерского района. Владелец и ровесник «Руссо-Балта», 64-летний Ян Янович Межпаианс, получил машину в наследство от своего отца, который, как и сам Ян Янович (а в свое время и его дед), был пожарным. Последний раз машина «ходила» в 20-х годах, потом она была разобрана. Благодаря этому она и сохранилась. Правда, коечто за это время исчезло: не было кузова, колес, кое-каких мелочей, но осталось самое главное: 4-цилиндровый двигатель, сотовый медный радиатор, шасси, тормоза, деревянное рулевое колесо. Ян Янович Межпаианс передал свою машину в дар нашему, пока еще не существующему музею. Реставрировать машину будем усилиями всего клуба. Эта уникальная находка (в нашей стране есть еще лишь одна такая модель) будет украшением нашего музея.

Как говорится, автомобиль не роскошь, роскошь — старый автомобиль. Если бы он был у меня!.. Я уже представляю себе, как, покачиваясь на мягких подушках, словно в карете, еду в этом красавце. Машина идет плавно и, по нынешним временам, медленно — у меня есть полная возможность рассмотреть пейзажи по обе стороны дороги и даже раскланяться со знакомыми, попадающимися на пути...

Ах, с каким удовольствием я бы поменяла сейчас «Жигули» на древний дубль-фаэтон с колесами на деревянных спицах или даже на старенький «Виллис» нашего дяди Леши! Но для этого, как минимум, надо иметь «Жигули»...

Наталья
ТОДОРОВА

Это девятиэтажное общежитие в Усть-Илимске называют «болгарским домом». Здание высится на сопке, заросшей корабельным бором. Здесь живет молодежный отряд имени Георгия Димитрова, приехавший из Болгарии, чтобы строить целлюлозный завод.

В Усть-Илимске вырастет крупнейший в мире лесопромышленный комплекс, рассчитанный на выпуск полумиллиона тонн сульфатной целлюлозы. Около сорока процентов его сметной стоимости оплачивают Болгария, Венгрия, ГДР, Польша и Румыния. Оплачивают в основном поставками машин, оборудования, материалов. В 1979 году намечен пуск первой очереди ЛПК, и страны—участницы стройки будут в порядке компенсации получать в течение нескольких лет сульфатную целлюлозу пропорционально своему вкладу. Затем сотрудничество может быть продолжено на взаимовыгодной основе. Так определено программой социалистической интеграции.

Болгары приехали в Усть-Илимск в сорокаградусный мороз. Они думали, что холоднее быть не может. Но потом было еще холоднее, но это им уже не мешало работать.

— Мы же не на курорт приехали,— сказал мне бригадир Иван Димитров.— И потом, все работают, мы что ж, хуже?

Болгарские шоферы работают в Усть-Илимске на сорока трех машинах. На каждой по два человека — экипаж. Один шофер работает в первой смене, другой — во второй. Сорок три экипажа — две бригады. В первой бригадиром Иван Димитров, во второй — Илья Петров. Когда подводили итоги соревнования комсомольско-молодежных коллективов автотранспортного управления, болгары, к вящему конфузу сибиряков, заняли оба первых места.

— Спасибо усть-илимцам,— продолжает Иван,— что помогли нам одолеть первую зиму. Мы получили новые КрАЗы, теплое общежитие, так что морозы были не страшны. А к новой зиме построили большой гараж. Уже не придется держать машины под открытым небом.

Днем, когда мы встретились в карьере, нам удалось только познакомиться. Большего не позволил машинист экскаватора — стал сердито сигналить: чего, мол, тра-ли-вали разводите.

— Извини, пожалуйста,— сказал Иван, пряча под гусарскими усами смущенную улыбку.— Подожди один час, вместе обедать будем...

Он рывком влез в кабину и плавно подогнал свой КрАЗ под полный ковш. Раз — и гора земли обрушилась в кузов. Еще раз — и машина, заревев, тяжело поползла по склону.

Обедают ребята прямо в тайге, здесь у них своя столовая и свои повара: Ангел и Ангелина Калоеровы, или, как их здесь называют, «ангельская пара». Они, молодожены, решили не расставаться и поработать в Сибири вместе. В Софии Ангел работал в первоклассном ресторане «Славия».

В полдень из карьера один за другим подкатывают к столовой КрАЗы. Они наполняют тайгу ревом и едким запахом отработанной солярки. Комары не выносят этого запаха, и на полчаса на окруженной КрАЗами площадке не слышно комарного звона.

На закуску был салат из болгарских помидоров с брынзой: воздушный мост София — Братск действует безотказно. Быстро проходит обед. И снова КрАЗы, взревев, окутывают сосны сизым дымом и, оставляя за собой облака пыли, устремляются в сторону карьера. А вечером, приняв теплый душ и смыв с себя усталость и пыль, болгарские парни идут на танцплощадку. Она на сопке, и музыка разносится далеко окрест. Болгар трудно отличить от местных. Впрочем, кого называть в Усть-Илимске местным? Все жители его приехали из разных концов Советского Союза: с Украины, Кавказа, Средней Азии, Прибалтики. Смуглых, горбоносых болгар часто путают с грузинами, грузин — с болгарами, а тех и других — с азербайджанцами. Но это никого не смущает. Усть-Илимск — город интернациональный, как любая комсомольская стройка. Десять лет назад здесь пряталась у Толстого мыса деревушка Неван, всего около 60 дворов. Сейчас вырос город, в котором 60 тысяч жителей.

Среди них — сто болгарских шоферов из отряда имени Георгия Димитрова.

Валерий **КАДЖАЯ**

На снимках: вверху — Ангел и Ангелина Калоеровы, внизу — КрАЗ ведет Тодор Матев.

Аркадий АРКАНОВ

СПИРИН И ПОЛЕНЬЕВ

Спирин был не то парикмахером, не то зубным техником, не то еще кем-то, кем точно, значения не имеет.

Однажды, вспомнив про его существование, к нему заглянул Поленьев не то побриться, не то вставить челюсть, не то еще что-то. И разговорились.

— Так, значит, ты здесь работаешь? — спросил Поленьев.

— Точно так, — ответил Спирин, не то выбривая ему правую щеку, не то обтачивая шестой слева на нижней.— А ты как?

— А я — писатель, — сказал Поленьев.

— Стало быть, пишешь?

— Пишу.

— Про что?

— Про все.

— Понятно,— вежливо сказал Спирин, хотя ему ничего не было понятно, а, вернее сказать, просто все равно.

— Может, чем-нибудь смогу быть полезен? — спросил Поленьев, не то пробуя прикус, не то кладя в портфель полученную им от Спирина дефицитную батарейку для транзистора.

— Да чего уж там, — улыбнулся Спирин. — Ты заходи, если что...

Спустя некоторое время был сильный дождь, и Поленьев, торопясь в редакцию, естественно, забыл дома зонт. Так что он шел, вернее, припрыгивал, накрыв голову портфелем, неуклюже перескакивая через глубокие лужи и переступая на пятках мелкие. Внезапно он услышал свою фамилию и увидел возле тротуара машину. Не то «Жигули», не то «Volvo». За рулем сидел Спирин.

— А где твоя? — спросил Спирин, когда они подъехали к редакции.

— Дома, — ответил Поленьев.

— Новая?

— Та же.

— В гараже?

— В кухне.

Тут Спирин догадался, что Поленьев имеет в виду жену, а Поленьев понял, что Спирин интересовался машиной.

— А почему машину не берешь? — спросил Спирин.

— Денег нет,— ответил Поленьев.

— В каком смысле?

— В том смысле, что их нет.

— Понятно, — вежливо сказал Спирин, хотя ничего, по сути дела, не понял. — А я думал, вчера увидимся. Тут в одном доме творческой интеллигенции американское кино давали.

— Нет,— вздохнул Поленьев.— У нас запись с шести утра была. Я оказался 784-м, а билетов всего двести.

— Понятно, — опять вежливо сказал Спирин, хотя опять ничего не понял. — Не расстраивайся. Скучное кино. Одна драка и два секса. Остальное — муть.

— Я не расстраиваюсь, — сказал Поленьев. — Просто я об этом фильме статью должен был написать.

— Так и напиши! — успокоил его Спирин. — И заходи, если что. Я все там же...

...Жена Поленьева пришла домой поздно и навеселе, так что они в очередной раз полаялись на разные материальные и нематериальные темы. И Поленьев вспомнил слова Спирина: «Мужик должен делать бабки, а баба должна эти бабки экономно тратить...»

Утром Поленьеву позвонил знакомый музыковед и сказал, что сегодня концерт Лондонского симфонического оркестра и что не может ли Поленьев помочь ему с билетами, так как в Союзе композиторов была запись, и билетов не досталось.

И Поленьев поехал к Спирину — туда, где он работал, не то в мясной отдел Гастронома № 3, не то на автостанцию.

Спирин сказал, что с билетами трудно, а свои он отдать не может, потому что идти на эту тягомотину не хочет, а не пойти неудобно, но чтобы музыковед не расстраивался, так как завтра Спирин подробно расскажет, как они играли.

А еще через несколько дней от Поленьева ушла жена, написав ему, что он тряпка. И внутренне обливаясь скупыми мужскими слезами, Поленьев опять поплелся к Спирину не то в ресторан «Метрополь», не то в комиссионный магазин.

— Скажи ей, — мямлил Поленьев, — что я перестану быть тряпкой. Только пусть она возвращается. И я тут же перестану быть тряпкой.

Спирин не то подал ему борщ с пампушками, не то показал из-под прилавка только вчера сданные, почти ни разу не надеванные шведские брюки и сказал:

— Не могу, старичок. Самому нужна. Заходи, если что...

Но, как сказал когда-то Спирин, «сколько чего где отнимется, столько же того там же прибавится». Так и случилось. Через несколько лет Поленьеву был устроен творческий юбилей на широкую ногу — с театрализованными поздравлениями, с почетными адресами и бутербродами с семгой в буфете. В первом ряду сидел Спирин с бывшей женой Поленьева, хлопал и аплодировал. И вообще зал был переполнен, висели на люстрах, стояли в проходах. И даже Поленьев, нарядный и помолодевший, попасть на этот юбилей не смог. Он наблюдал его по соседскому телевизору. Сидел, смотрел и радовался.

N12 1976

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

НАУКА И ТЕХНИКА

СПОРТ

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

НА ВКЛАДКАХ